

Книга первая

Желтухин



ПРОЛОГ

« . . . **Н**ет, знаете, я не сразу понял, что она не в себе. Такая приятная старая дама... Вернее, не старая, что это я! Годы, конечно, были видны: лицо в морщинах и все такое. Но фигурка ее в светлом плаще, по-молодому так перетянута в талии, и этот седой ежик на затылке мальчика-подростка... И глаза: у стариков таких глаз не бывает. В глазах стариков есть что-то черепашьё: медленное смаргивание, тусклая роговица. А у нее были острые черные глаза, и они так требовательно и насмешливо держали тебя под прицелом... Я в детстве такой представлял себе мисс Марпл.

Короче, она вошла, поздоровалась...

И поздоровалась, знаете, так, что видно было: вошла не просто поглазеть и слов на ветер не бросает. Ну, мы с Геной, как обычно, — можем ли чем-то помочь, мадам?

А она нам вдруг по-русски: “Очень даже можете, мальчики. Ищу, — говорит, — подарок внучке. Ей исполнилось восемнадцать, она поступила в университет, на кафедру археологии. Будет заниматься римской армией, ее боевыми колесницами. Так что я намерена в честь этого события подарить моей Владке недорогое изящное украшение”.

Да, я точно помню: она сказала “Владке”. Понимаете, пока мы вместе выбирали-перебирали кулоны, серьги и браслеты — а старая дама так нам понравилась, хотелось, чтоб она осталась довольна, — мы успели вдоволь поболтать. Вернее, разговор так вертелся, что это мы с Геной рассказывали ей, как решились открыть бизнес в Праге и про все трудности и заморочки с местными законами.

Да, вот странно: сейчас понимаю, как ловко она разговор вела; мы с Геной прямо соловьями разливались (очень, очень сердечная дама), а о ней, кроме этой внучки на римской колеснице... нет, ничего больше не припоминаю.

Ну, в конце концов выбрала браслет — красивый дизайн, необычный: гранаты небольшие, но прелестной формы, изогнутые капли сплетаются в двойную прихотливую цепочку. Особенный, трогательный браслетик для тонкого девичьего запястья. Я посоветовал! И уж мы постарались упаковать его стильно. Есть у нас VIP-мешочки: вишневый бархат с золотым тиснением на горловине, розовый такой венчик, шнурки тоже золоченые. Мы их держим для особо дорогих покупок. Эта была не самой дорогой, но Гена подмигнул мне — сделай...

Да, заплатила наличными. Это тоже удивило: обычно у таких изысканных пожилых дам имеются изысканные золотые карточки. Но нам-то, в сущности, все равно, как клиент платит. Мы ведь тоже не первый год в бизнесе, в людях кое-что понимаем. Вырабатывается нюх — что стоит, а чего не стоит у человека спрашивать.

Короче, она попрощалась, а у нас осталось чувство приятной встречи и удачно начатого дня. Есть такие люди, с легкой рукой: найдут, купят за пятьдесят евро правые сережки, а после них ка-ак повалят толстосумы! Так и тут: прошло часа полтора, а мы успели продать пожилой японской паре товару на три штуки свриков, а за ними три молодые немочки купили по кольцу — по одинаковому, вы такое можете себе представить?

Только немочки вышли, открывается дверь, и...

Нет, сначала ее серебристый ежик проплыл за витриной.

У нас окно, оно же витрина — поддела удачи. Мы из-за него это помещение сняли. Недешевое помещение, могли вполтину сэкономить, но из-за окна — я как увидел, говорю: Гена, вот тут мы начинаем. Сами видите: огромное окно в стиле модерн, арка, витражи в частых переплетах... Обратите внимание: основной цвет — алый, пунцовый, а у нас какой товар? У нас ведь гранат, камень благородный, теплый, отзывчивый на свет. И я, как увидал этот витраж да представил полки под ним — как наши гранаты засверкают ему в рифму, озаренные лампочками... В ювелирном деле главное что? Праздник для глаз. И прав оказался: перед нашей витриной люди обязательно останавливаются! А не остановятся, так притормозят — мол, надо бы зайти. И часто заходят на обратном пути. А если уж человек зашел, да если этот человек — женщина...

Так я о чем: у нас прилавок с кассой, видите, так развернут, чтобы витрина в окне и те, кто за окном проходит, как на сцене были видны. Ну и вот: проплыл, значит, ее серебристый ежик, и не успел я подумать, что старая дама возвращается к себе в отель, как открылась дверь, и она вошла. Нет, спутать я никак не мог, вы что — разве такое спутаешь? Это было наваждение повторяющегося сна.

Она поздоровалась, как будто видит нас впервые, и с порога: “Моей внучке исполнилось восемнадцать лет, да еще она в университет по-ступила...” — короче, всю эту байду с археологией, римской армией и римской колесницей... выдает как ни в чем не бывало.

Мы онемели, честно говоря. Если б хоть намек на безумие в ней проглядывал, так ведь нет: черные глаза глядят приветливо, губы в полуулыбке... Абсолютно нормальное спокойное лицо. Ну, первым Гена очнулся, надо отдать ему должное. У Гены мамаша — психиатр с огромным стажем.

“Мадам, — говорит Гена, — мне кажется, вы должны заглянуть в свою сумочку, и вам многое станет ясно. Сдается мне, что подарок внучке вы уже купили и он лежит в таком нарядном вишневом мешочке”.

“Вот как? — удивленно отвечает она. — А вы, молодой человек, — иллюзионист?”

И выкладывает на витрину сумочку... черт, вот у меня перед глазами эта *винтажная* сумочка: черная, шелковая, с застежкой в виде львиной морды. И никакого мешочка в ней нет, хоть ты тресни!

Ну, какие мысли у нас могли возникнуть? Да никаких. У нас вообще крыши поехали. А буквально через секунду громыхнуло и запылало!

...Простите? Нет, потом такое началось — и на улице, и вокруг... И к отелю — там ведь и взорвалась машина с этим иранским туристом, а? — понаехало до черта полиции и “Скорой помощи”. Нет, мы даже и не заметили, куда девалась наша клиентка. Вероятно, испугалась и убежала... Что? Ах да! Вот Гена подсказывает, и спасибо ему, я ведь совсем забыл, а вам вдруг пригодится. В самом начале знакомства старая дама нам посоветовала канарейку завести, для оживления бизнеса. Как вы сказали? Да я и сам удивился: при чем тут канарейка в ювелирном магазине? Это ведь не караван-сарай какой-нибудь. А она говорит: “На Востоке во многих лавках вешают клетку с канарейкой. И чтоб веселей пела, удаляют ей глаза острием раскаленной проволоки”.

Ничего себе — замечание утонченной дамы? Я даже зажмурился: представил страдания бедной птички! А наша “мисс Марпл” при этом так легко рассмеялась...»

Молодой человек, излагавший эту странную историю пожилому господину, что вошел в их магазин минут десять назад, потолокся у витрин и вдруг развернул серьезнейшее служебное удостоверение, игнорировать которое было невозможно, на минуту умолк, пожал плечами и взглянул в окно. Там карминным каскадом блестели под дождем воланы черепичных юбок на пражских крышах, двумя голубыми оконца-

ми мансарды таращился на улицу бокастый приземистый домик, а над ним раскинул мощную крону старый каштан, цветущий множеством сливочных пирамидок, так что казалось — все дерево усеяно мороженым из ближайшей тележки.

Дальше тянулся парк на Кампе — и близость реки, гудки парашодов, запах травы, проросшей меж камнями брусчатки, а также разнокалиберные дружелюбные собаки, спущенные хозяевами с поводков, сообщали всей округе то ленивое, истинно пражское очарование...

...которое так ценила старая дама: и это отрешенное спокойствие, и весенний дождь, и цветущие каштаны на Влтаве.

Испуг не входил в палитру ее душевных переживаний.

Когда у дверей отеля (за которым последние десять минут она наблюдала из окна столь удобно расположенной ювелирной лавки) рванул и пыхнул огнем неприметный «Рено», старая дама просто выскользнула наружу, свернула в ближайший переулок, оставив за собой оцепеневшую площадь, и прогулочным шагом, мимо машин полиции и «Скорой помощи», что, вопя, протиралась к отелю сквозь плотную пробку на дороге, миновала пять кварталов и вошла в вестибюль более чем скромной трехзвездочной гостиницы, где уже был заказан номер на имя Ариадны Арнольдовны фон (!) Шнеллер.

В затрапезном вестибюле этого скорее пансиона, нежели гостиницы постояльцев тем не менее старались знакомить с культурной жизнью Праги: на стене у лифта висела глянцевая афиша концерта: некий *Leon Ettinger, kontratenor* (белозубая улыбка, вишневая бабочка), исполнял сегодня с филармоническим оркестром несколько номеров из оперы «Милосердие Сципиона» («*La clemenza di Scipione*») Иоганна Христиана Баха (1735–1782). Место: собор Святого Микулаша на Мала-Стране. Начало концерта в 20.00.

Подробно заполнив карточку, с особенным тщанием выписав никому здесь не нужное отчество, старая дама получила у портье добротный ключ с медным брелком на цепочке и поднялась на третий этаж. Ее комната под номером 312 помещалась очень удобно — как раз против лифта. Но, оказавшись перед дверью в свой номер, Ариадна Арнольдовна почему-то не стала ее отпирать, а, свернув влево и дойдя до номера 303 (где уже два дня обитал некий Деметрос Папаконстантину, улыбчивый бизнесмен с Кипра), достала совсем другой ключ и, легко провернув его в замке, вошла и закрыла дверь на цепочку. Сбросив плащ, она уединилась в ванной, где каждый предмет был ей, похоже, отлично знаком, и, первым делом намочив махровое полотенце горя-

чей водой, с силой провела им по правой стороне лица, стащив дряблый мешок под глазом и целую россыпь мелких и крупных морщин. Большое овальное зеркало над умывальником явило безумного арлекина со скорбной половиной старушечьей маски.

Затем, поддев ногтем прозрачную клейкую полоску надо лбом, старая дама совлекла седой скальп с абсолютно голого черепа — замечательной, кстати сказать, формы, — разом преобразившись в египетского жреца из любительской постановки учеников одесской гимназии.

Левая сторона морщинистой личины оползла, как и правая, под напором горячей воды, вследствие чего обнаружилось, что Ариадне Арнольдовне фон (!) Шнеллер неплохо бы побриться.

«А недурно... ежик этот, и старуха чокнутая. Удачная хохма, Барышне понравилось бы. И педики смешные. До восьми еще куча времени, но — распеться...» — подумала...

...подумал, изучая себя в зеркале, молодой человек самого неопределенного — из-за сублильного сложения — возраста: девятнадцать? двадцать семь? тридцать пять? Такие гибкие, как угорь, юноши обычно исполняли женские роли в средневековых бродячих труппах. Возможно, поэтому его часто приглашали петь женские партии в оперных постановках, он бывал в них чрезвычайно органичен. Вообще, музыкальные критики непременно отмечали в рецензиях его пластичность и артистизм — довольно редкие качества у оперных певцов.

И думал он на невообразимой смеси языков, но слова «хохма», «ежику» и «Барышня» мысленно произнес по-русски.

На этом языке он разговаривал со своей взбалмошной, безмозглой и очень любимой матерью. Вот ее-то как раз и звали Владкой.

Впрочем, это целая история...

ЗВЕРОЛОВ

1

• • • *а* по-другому его в семье и не называли. И потому, что многие годы он поставлял животных ташкентскому и алма-атинскому зоопаркам, и потому, что это прозвище так шло всему его жилисто-ловчему облику.

На груди у него спекшимся пряником был оттиснут след верблюжьего копыта, вся спина исполосована когтями снежного барса, а уж сколько раз его змеи кусали — так то и вовсе без счету... Но он оставался могучим и здоровым человеком даже и в семьдесят, когда неожиданно для родных вдруг положил себе умереть, для чего ушел из дому так, как звери уходят умирать, — в одиночестве.

Восьмилетний Илюша эту сцену запомнил, и впоследствии она, очищенная памятью от сумбура восклицаний и сумятицы жестов, обрела лаконичность стремительно завершенной картины: Зверолов просто сменил тапочки на туфли и пошел к дверям. Бабушка кинулась за ним, привалилась спиной к двери и крикнула: «Через мой труп!» Он отодвинул ее и молча вышел.

И еще: когда он умер (заморил себя голодом), бабушка всем рассказывала, какая легкая у него была после смерти голова, добавляя: «Это потому, что он сам умереть захотел — и умер, и не страдал».

Илюша боялся этой детали всю свою жизнь.

* * *

Вообще-то звали его Николай Константинович Каблуков, и родился он в 1896 году в Харькове. Бабушкины братья и сестры (человек чуть ли не десять, и Николай был старшим, а она, Зинаида, — младшей, так что разделяли их лет девятнадцать, но душевно и по судьбе он всю жизнь оставался к ней *ближайшим*) — все родились в разных городах. Трудно

понять, а сейчас уже никого и не спросишь, каким ненасытным ветром гнало их папашу по Российской империи? А ведь гнало, и в хвост и в гриву. И если уж мы о хвосте и о гриве: лишь после распада Советской державы бабушка посмела оголеть кусочек «страшной» семейной тайны: у прадеда, оказывается, был свой конный завод, и именно что в Харькове. «Как к нему лошади шли! — говорила она. — Просто поднимали головы и шли».

На этих словах она каждый раз поднимала голову и — высокая, статная даже в старости, делала широкий шаг, плавно поводя рукой; в этом ее движении чудилась толика лошадиной грации.

— Теперь понятно, откуда у Зверолова страсть к ипподромам! — однажды воскликнул на это Илья. Но бабушка глянула своим знаменитым «иваногрозным» взглядом, и он заткнулся, дабы старуху не огорчить: вот уж была — хранительница семейной чести.

Вполне возможно, что разгулянная прадедова повозка тряслась по городам и весям вперегонки с неумолимым бегом бродяжьей крови: самым дальним известным его предком был цыган с тройной фамилией Прохоров-Марьин-Серегин — видать, двойной ему казалось мало. А Каблуков... да бог знает, откуда она взялась, немудреная эта фамилия (еще и тем оскандаленная, что одна из двух алма-атинских психушек, та, что на одноименной улице, одарила эту фамилию нарицательным смешком: «Ты что, с Каблукова?»).

Возможно, тот же предок откаблучивал и выкаблучивал под гитару так, что летели набойки от каблуков?

В семье, во всяком случае, бытовали опметки никому не известных, да и просто малопристойных песенок, и все их мурлыкали, от мала до стара, с характерным надрывом, не слишком вдаваясь в смысл:

Цыган цыганке говорит:
«У меня давно стоит...
Эх, ды — на столе бутылочка!
Давай выпьем, милочка!»

Было кое-что попрличнее, хотя и на ту же застольную тему:

Ста-а-кан-чи-ки гра-ане-ны-ня
Упа-а-али со-о стола...

Эту Зверолов и сам любил напевать под нос, когда канаречные клетки чистил:

Упа-али и раз-би-ли-ся —
Разби-илась жизнь моя...

Канарейки были его страстью.

По четырем углам столовой от пола до потолка громоздились клетки.

Приятель у него в зоопарке работал, мастер изумительный. Каждая клетка — маленький ажурный дом, и каждая — наособицу: одна — как резная шкатулка, другая — точь-в-точь китайская пагода, третья — собор с витыми башенками. А внутри вся обстановочка, заботливое кропотливое хозяйство для певчих жильцов: «купалка» — воротца, наподобие футбольных, с дном из оргстекла, и поилка — сложно устроенная штука, куда вода поступала из резервуара; менять ее надо было каждое утро.

Но главное — кормушка: деревянный ящичек, куда засыпали пшено с просом. Хранился корм в ситцевом мешочке, перетянутом на половине серебряной тесьмой от новогоднего подарка из раннего Илюшиного детства. Мешочек зеленый, с оранжевыми цветами, и совок к нему привязан, тоже — младенческий лепет...

...брэд, почему это помнится?

И ясно, очень ясно помнится бровастое носатое лицо Зверолова, заштрихованное тонкими прутьями птичьей клетки. Глубоко посаженные черные глаза с выражением требовательного любования, и в каждом — по желтому огоньку скачущей канарейки.

И тибетейка! Он всю жизнь их носил: четырехгранные чустские «душпи» — твердые коробочки, с простеганными белой ниткой перцями-каламшир, самаркандские «шилтадузи», бухарские золотошвейные... Самые разные тибетейки, любовно вышитые женской рукой. Вокруг него всегда вилось множество женщин.

Он бегло говорил по-узбекски и по-казахски; если брался готовить плов, от чада нечем было дышать, и морковка прилипала к потолку, но получалось вкусно. Чай пил только из самовара и не меньше семи эмалированных кружек за вечер — чашек не признавал. Если бывал в хорошем настроении, много шутил, смеялся громоподобно и заливисто, со смешными всхлипами и канареечной фистулой на высоких нотах; вечно сыпал какими-то никому не известными прибаутками: «Деревня Юшта! Вот глушь-то!» — и при каждом удобном случае, будто фокусник, извлекал из памяти подходящий огрызок стихотворения, изобретательно меняя по ходу рифму, если вдруг слово забудется или по смыслу не личит.

Илюша лазал по Зверолову, как по дереву.

Гораздо позже, узнав о нем кое-что еще, Илья припоминал отдельные жесты, взгляды и слова, запоздало наделяя его личность незатоптанными, тлеющими и в поздние годы страстями.

Вообще, было время, когда он много думал о Зверолове, раскапывая какие-то замороженные простодушной детской памятью воспомина-

ния. Например, как из пашлычных палочек тот плел корзинки для канареечных гнезд.

Палочки они вместе собирали в траве у соседней пашлычной, потом долго мыли их под колонкой во дворе, соскабливая затвердевший воск давнего жира. После чего великанские пальцы Зверолова пускались в замысловатый танец, выплетая глубокие корзинки.

— Разве гнезда такие — как короб? — спрашивал Илюша, внимательно следя за ловким большим пальцем, что без усилия сгибал алюминиевое копые и легко продевал его под уже сплетенный каркас.

— Иначе яички выпадут, — серьезно пояснял Зверолов; всегда подробно растолковывал — что, как и зачем делает.

На готовый каркас накручивались кусочки верблюжьей шерсти («чтоб мальцы не замерзли») — а если шерсти не было, выковыривался из старого, еще военных лет ватника желтый комковатый ватин. Ну, а поверх всего вязались полоски цветной материи — тут уже бабушка доставала щедрой рукой лоскуты из своего заветного портновского тючка. И гнезда выходили праздничные — ситцевые, сатиновые, шелковые, — очень цветные. А дальше, говорил Зверолов, птичья забота. И птицы «наводили уют»: устилали гнезда перышками, кусочками бумаги, выискивали клубки бабушкиных «цыганских» волос, вычесанных поутру и случайно закатившихся под стул...

— Поэзия семейной жизни... — умиленно вздыхал Зверолов.

Яички получались очень милые, голубовато-рябенькие; их можно было рассматривать, только если самка выбиралась из гнезда, но трогать запрещалось. А вот птенцы выклевывались страшные, похожие на Кашея Бессмертного: синеватые, лысые, с огромными клювами и водянистыми выпуклыми глазами. Скоро они покрывались пухом, но страшными оставались еще долго: новорожденные драконы. Иногда выпадали из гнезда: «Эта самочка неопытная, вишь, сама их роняет», — а бывало, какой-нибудь помирал, и Илюша, заметив окоченевший трупик на полу клетки, отворачивался и зажмуривался, чтобы не видеть белесой пленки на закатившихся глазах. Зато подросших птенцов ему разрешалось кормить. Зверолов разминал яичный желток, смешивал с каплей воды, поддевал кашицу спичкой и точным движением вдвигал ее птенцу прямо в разинутый клюв. Все птенцы почему-то норовили купаться в поилках, и Зверолов объяснял Илюше, как их надо учить, откуда пить, а где купаться. Любил качать в ладонях; показывал — как брать, чтоб, не дай бог, не причинить птахе боли.

Но все эти ясельные заботы меркли перед волшебным утренним мигом, когда Зверолов — уже проснувшийся, бодрый, ранне-трубный

(он сморкался в большой клетчатый платок так, что бабушка затыкала уши и восклицала всегда одно и то же: «Груба иерихонская!» — за что немедленно получала в ответ: «Ослица Валаамова!») — выпускал всех канареек из клеток полетать. И воздух становился *джунглевым*: плотным, переливчатым, желто-зеленым, веерным... и немного опасным; а Зверолов стоял посреди комнаты — высоченный, прямо Колосс Родосский (это опять бабушка) — и нежным воркотливым басом с внезапным фистульным писком вел с птицами беседы: щелкал языком, цокал, губами вытворял такое, что Илюша хохотал, как безумный.

И еще утренний номер был: Зверолов смешно поил птиц изо рта: набирал в рот воды, принимался «гулить и горлить», чтоб их привлечь. И они слетались к его губам и пили, младенчески закидывая голову. Так весной птицы слетаются к могучему дереву с высоко прибитым скворечником. Да и сам он, с закинутой головой, становился похож на гигантского птенца какого-нибудь птеродактиля. Бабушке это не нравилось, она сердилась и повторяла, что птицы — переносчики опасных заболеваний. А он лишь смеялся.

Все птицы пели.

Илюша различал их по голосам, любил смотреть, как дрожит у канарейки горлышко на особо громких трелях. Иногда Зверолов разрешал положить палец на поющее горло — пальцем слушать пульсирующую россыпь. А петь учил их сам. Было у него два способа: собственное громкое пение русских романсов (птицы подхватывали мелодию и подпевали) — и пластинки с голосами птиц. Пластинок было четыре: аспидно-черные, с бегущим по кругу кинжальным про сверком, с розовыми и желтыми сердцевинами, где мелкими буквами указывалось, какие птицы поют: синицы, славки, дрозды.

— Из чего состоит ценная песня благородного певца? — вопрошал Зверолов. Мгновение держал паузу, после чего бережно ставил пластинку на проигрыватель и осторожно пускал иглу в ее зачарованное кружение. Из далекой тишины голубых холмов рождались и звонкими ручьями приплывали, потренькивая по камушкам, вычиркивая-вызывающая и мелко-серебристо роясь в воздухе, птичьи голоса.

Илюша наперечет знал колена песни русской канарейки; умел уже отличить «светлую овсянку» от «горной», «подъемной» — когда, начиная петь в низком регистре, постепенно, будто в гору поднимаясь, певец вытягивает песню наверх, на запредельные трели с замирающей сладостью звука (а ты боишься, не оборвет ли) и долго держит трепетное «и-и-и-и», переводя его то на «ю-ю-ю-ю», то на «у-у-у-у», а

после короткого вдоха выдыхает полный и круглый звук («Кнорру пустил!» — шепотом замечал Зверолов) — и заканчивает низкими, нежно-вопросительными свистками.

На ночь клетки покрывали платками и шалями, и сразу в комнате становилось очень-очень тихо. Последней жизнь шорохов замирала не в клетках, а в огромном шкафу, где обитал...

Вот... теперь, хочешь не хочешь, придется вспомнить о Желтухине Втором и, главное, о дубовой резной исповедалне, что служила ему домом.

* * *

В столовой, помимо клеток по углам, стояли тахта и круглый обеденный стол со стульями, а также большая зеленая кадка, где росла финиковая пальма, выращенная бабушкой из косточки. В сущности, эта светлая комната выглядела бы вполне просторно (бабушка не любила «тромоздить барахло»), если б не странное монументальное сооружение у «слепой» стены, похожее на орган без труб или надгробие епископа.

Это была исповедалня, выброшенная из ташкентского костела за ненадобностью, когда тот перестраивали — то ли в овощехранилище, то ли еще в какой-то склад. Бабушка утверждала, что Зверолов (он и жил тогда в Ташкенте) притащил к себе исповедалню на закорках. Это, положим, выглядело подвигом Геракла — без грузовика и пары грузчиков там вряд ли обошлось, — но уж как-то доставил, ибо сразу решил, что сей таинственный грот, хранящий отзвуки грехов и страстей человеческих, должен стать обителью Желтухина Второго, его любимого кенаря.

— Почему Второй? — спросил однажды Илюша. — И где же Первый?

— Первый в бозе почил, — вздохнул Зверолов, и мальчик представил эту самую «бозю» в виде той же исповедални, только лежащей на боку и похожей на деревянный лакированный саркофаг, где лакированным клювом вверх, пугающе неподвижный, как мумия фараона, *почил* Желтухин Первый.

Все дело в том, что Желтухин Второй был — в отличие от остальных зеленых канареек овсянистого напева — желтым и ослепительно гениальным. Свою песню инкрустировал каскадом вставных колен. Пел с открытым клювом, в манере сдержанной страсти, виртуозно меняя тональность и силу звука, «балуясь»: то проходя низами, то подни-

мая тон, то сводя звук к обморочному зуммеру, трепещущим горлом припадая к тончайшей тишине. Не было случая, чтоб оскорбил он свое искусство акустической грубостью или вдруг громче крикнул, чем это было уместно. Зверолов уверял, что на любом мировом конкурсе, ежели бы на такой попасть, Желтухин Второй обязательно отхватил бы первый приз.

Как сладко было просыпаться утром под его песню...

Начинал он синичкой-московкой: *«Стыдись-стыдись-ты! Стыдись-стыдись-ты!»* — словно укорял Илюшу-засону. И, как бы не веря в то, что мальчик сейчас же вскочит, на ироническом выдохе проборматывал: *«Скептически-скептически... скептически-скептически...»*

О, Илюша мог часами толмачить *разговоры-канары* птичьего народа. Желтухин, когда еще к песне не приступал, выщелкивал такие речи! *«Нетеберасказывать!»* *«Незадавайвопросов!»* И после секундного размышления, решительно и четко: *«Предпринял, предпринял!»* — затем следовала попискивающая нить многоточия и: *«Воттеперьуходи... воттеперьуходи-и-и...»*

А дальше гневным стрижом: *«Щассввыстрелю!!! Щассввыстрелю!!!»*

И наконец плавно переходил на россыпи...

Из мечтательного далека, из звукового небытия вытягивал и вил нежную, еле уловимую «червячную» россыпь: стрекот кузнечика в летний зной. Хотя коронной его была редкая в пении канарейки россыпь *серебристая*: витая блестящая нить, на слух — разноцветная, желто-зеленая... А там уже катились «смеющиеся овсянки», с их потешными «хи-хи-хи-хи» да «ха-ха-ха-ха», подстегнутыми увертливой скороговоркой флейты. И вдруг выворачивал он на звонкие открытые бубенцы, и те удалялись и приближались опять, будто старинная почтовая тройка кружила в поисках тракта... А заканчивал «отбоями»: «Дон-дон! Цон-цон!.. Дин-дин!» — колокольцы в морозном воздухе зимнего утра.

Вообще, изобретательность его композиторского дара не знала границ. Одну и ту же тему он варьировал, перерабатывая ее по ходу исполнения, с филигранной точностью и грациозным изяществом вплетая в нужное колено.

Но бывало, в конце длинной и пылкой арии брал крошечную паузу и вдруг на одном дыхании выдавал «Стаканчики граненые», хитро кося на хозяина черным своим глазком-бусиной, отчего Зверолов хохотал и плакал одновременно, сморкаясь в платок, качая головой и повторяя:

— Ах ты ж, боже мой, какой артист! Сколько иронии, блеска, страсти! И утверждал, что это — самый безгрешный голос, когда-либо звучавший в исповедальне, «сей обители грехов и печалей».

2

Дом стоял на окраине Алма-Аты, у самых гор, в апортовых садах Института плодоводства и виноградарства, где когда-то работала бабушка Зинаида Константиновна. Чуть ли не за калиткой начинался виноградник — бетонные столбики с натянутой между ними проволокой, увитой мозолистой шершавой лозой.

Справа тянулся бетонный забор за шеренгой серебристых тополей, раскидистых и светлых, с большими, в две женские ладони, плескучими листьями; за ним — дощатая беленая помойка, над которой в летние дни бушевала беспощадная хлорная вонь. А дальше слева, и справа, и вокруг простирались сады, и уж они были безбрежны и благоуханны.

Путь до нижнего края занимал целый час, а если пойти направо, вдоль гор, — еще часа полтора. Они просто назывались так: апортовые сады, но, помимо яблонь, в огромных этих угодах были малиновые, смородиновые и клубничные поля, несметное количество дикой ежевики, терна и барбариса, карагачевые и тополиные аллеи, когда-то высаженные как снегозащитные полосы, и богатейшие россыпи грибов — шампиньонов, дождевиков, синих степных, а под карагачами — голубоватых вешенок.

Еще была поляна, обсаженная пирамидальными, с недовольным вороньем в кронах, прямыми и темными тополями, где Илюша играл с одноклассниками в футбол, а после — вспотевший, возбужденный, ошпаренный солнцем — бежал купаться «в поливные краны»: вокруг них всегда собиралось небольшое озерцо ледяной даже летом воды.

Вечером, часам к девяти, налетал ветер с гор, властно влетая сильные плодотворящие струи в любовные испарения садов, будоражил и нежил листву.

И всегда висел над садами, то потрескивая и вибрируя от зноя, то разбухая — особенно весной после дождя, — терпкий слоистый запах, вернее, пестрый ковер из неописуемых горных запахов: шалфея, душицы, лаванды, сладковатого красного клевера и лесных фиалок, что росли в укромных уголках сада.

К травным и древесным примешивались острые запахи животных — лисы, ежа, каких-то полевых грызунов; понизу стлались вязкий холодный запах тины и сырой дух грибницы и влажной земли.

И запах полыни... Ее много вокруг было, и в садах, и возле дома: красной, белой, серебристой... Бабушка ее любила, и каждую весну полынные веники развешивались на стенах кухни и веранды.

Но главное, по всей округе воздух закипал всепобеждающим ароматом яблок сорта апорт.

Апорт называли символом Алма-Аты: яблоко весило чуть не килограмм. Гигантские, круглые пахучие плоды, красно-полосатые от малинового до бордового, с зеленоватой кисло-сладкой сердцевинной — они до февраля могли храниться просто в серванте. Бабушка рассказывала, что раньше их продавали с телег, высланных сеном, — горы пунцовых яблок, покрытых тонким слоем воска.

На вокзалах апорт ведрами выносили к поездам, ведрами продавали на подходе к базару; золотисто-малиновыми курганами пузатились прилавки фруктовых рядов на Зеленом базаре.

На улице Абая, где яблони росли вдоль арыка, роняя в воду плоды, а те плыли, плыли, стремительно кружась, как поплавки, и скапливались у коллектора, можно было просто опустить руку в холодную воду и выудить самое красное, самое пахучее и уже мытое яблоко: бери и надкусывай, успевай лишь отирать ладонью сладкий сок с подбородка.

А на складе Института плодоводства (был это просто гигантский земляной ангар, одна лишь крыша над поверхностью земли) работала тетя Тамара, которой, по тайному мнению Илюши, очень эта работа подходила. Мужеподобная, почти лысая — так что в полутьме подвала ее череп, склоненный над горой яблок, и сам напоминал розоватый, особо уродившийся апорт, — она выуживала плоды из круглобких курганов, сортировала и укладывала в опилки, в ящики, а некоторых красавцев — в вощеную бумагу и в отдельные коробки. Затем рабочие вытаскивали их наверх, и полные алого золота, пурпура и янтаря коробки стояли во дворе на снегу в ожидании грузовиков. Куда и к кому они в конце концов приплывали, райские эти плоды?

Бабушка — она занималась и апортом тоже — однажды объяснила, что сорт этот — воронежский; просто в тамошнем климате яблоки не разрастались столь чудесным образом, как здесь, в предгорьях Алма-Аты. И добавила, что срок жизни любого сорта яблок — лет сорок, после чего им снова нужно заниматься: се-лек-ци-они-ро-вать. А зачем, думал Илюша: сорок лет — это ж какая даль незаглядная! Это ж коммунизм давно будет, не то что — яблоки.

В Институте бабушка уже не работала, но продолжала его «курировать»: приходила в свою лабораторию виноделия, обсуждала с уче-

никами и бывшими коллегами результаты опытов, проверяла чистоту химической посуды. Сады, виноградник, поля, снегозащитные аллеи и, кажется, даже дощатую помойку она воспринимала как свое хозяйство: строго расспрашивала сторожей на лошадях, осматривала виноград и яблони, следила за тем, как проходит полив.

Илюша с раннего детства сопровождал бабушку в ее «инспекциях». Привык послушно вкладывать руку в ловушку сильной и жесткой бабушкиной руки — почему-то она любила всегда чувствовать руку мальчика у себя в ладони; привык слушать бабушкины объяснения всему вокруг. Годам к шести знал от нее много неожиданных, необычных и «взрослых» явлений природы и мира.

Бывало, остановится она внезапно и спросит:

— Знаешь, как найти Гнилой угол?

— Гни-лой? — удивляется Илюша. — А где он?

— Да на небе, — говорит бабушка. — Такое место на небе, на северо-западе. Мы в полукольце гор, понимаешь? Получается, ветер падает к нам только с северо-запада. Там и тучи скапливаются, оттуда и все дожди приходят. Если хочешь узнать, что за погода будет через час-другой, — ищи глазами Гнилой угол... Во-о-он он, над школой...

Все улицы в округе, носящей странное название Экспериментальная база, были застроены неказистыми частными домиками, и по каждой можно было прийти к школе. За школой — тоже неказистой, типовой трехэтажной, с футбольным полем и сарайным зданием мастерских — протекала речка, Большая Алматинка; за ней тянулись пригороды и поселки. А дальше холмились предгорья, заселенные кладбищами и дачами. С них начинался подъем в настоящие горы, в Алатау. Почему-то назывались эти предгорья по-базарному, «прилавками», и каждой весной Илюша с бабушкой ходили туда за подснежниками.

Он поднимал голову и вглядывался в небо, где вообще не было никаких углов, одни лишь громады опалово-белых облаков. Они сталкивались друг с другом, внедряясь в боевые ряды противника. Белая конница наступала врага и валила, опрокидывая колесницы, беспшумно взрываясь клубами небесных петард. А из свалки выползал длинный кудрявохребетный дракон с надорванным брюхом, истекающим сизо-черным дымом, и медленно умирал, волоча за собой темные клочья тлеющих на закате внутренностей...

* * *

За садом смотрел Абдурашитов — тощий уйгур с узкими желтыми глазами на смуглом лице без малейшего намека на растительность.

Он бы выглядел и совсем молодым, если б не клетчатая от морщин длинная шея. Ходил враскачку на кривоватых ногах, руки носил вдоль туловища, не размахивая, и казалось, что выросли они у него лишь затем, чтоб поводья держать. Когда сидел на лошади, казался очень ловким; спустившись с коня, запутывался в собственной походке. Был обременен большой девчачьей семьей — аж девять дочерей, рожденных, как говорила бабушка, «в затылочек друг другу». Так в весенней капели одна за другой падают большие неторопливые капли: все были крупными, волоокими задумчивыми девочками.

Пятая, Аида, лет через двадцать выкормит своим молоком новорожденную дочь Ильи, осиротевшую через час после рождения.

Со времен «инспекций» осталась фотография — та, что и сейчас смотрит с полки бабушкиного бюро: Илюша с бабушкой стоят, как плавают, в ажурной тени еще голых струнных тополей. Она крепко держит внука за руку, то ли спасаясь от качки в волнах света, то ли боясь, что мальчик деру даст, а над ними мачтой возвышается Абдурашитов на лошади. На фото не видать, что лошадь — рыжая, с черной гривой (бабушка говорила — саврасая), такая же блекло-рыжая, как галифе на стороже. И судя по его одежде, по мягким азиатским сапогам, овчинной душегрейке поверх клетчатой рубахи, по казахской войлочной шапке, это ранняя весна; зимой он носил ватник и кирзовые сапоги.

А снимал, вероятно, Разумович — «богато разносторонний человек».

Вслед за бабушкой Илюша называл Разумовича «учеником», хотя неясно было, где и когда тот у нее учился. Он *принял лабораторию* после ухода бабушки на пенсию и считался другом семьи. Нервный, преданный, непременно с кем-нибудь выяснял отношения, говорил пылкими рваными фразами, пересыпая речь непонятным словом «конеццитать»:

— Я, Зинанда Константиновна, не понимаю! Зачем ждать, пока крыша провалится! Пришлю в среду Николая! Он покроет жестью вашу веранду! Конеццитаты! — Или: — Лаборанты распустились: Нина уходит в декрет! Сема непременно должен к матери ехать! Работать некому! Конеццитаты!

Разумович часто их навещал, но приходил старался в отсутствие Зверолова. По словам бабушки, они «почему-то находились в конфронтации». А тут и гадать незачем — все ж и так ясно: Разумович был оголтелым меломаном, сам играл на флейте, вечно где-то что-то «репетировал» и время от времени выступал на концертах каких-то любительских ансамблей. Появляясь у них с бабушкой после очередной

воскресной репетиции, Разумович даже не пытался раскрыть футляр, не то чтоб инструмент из него извлечь.

Виной всему были канарейки: Зверолов пуше глаза берег их от «нежелательных влияний». Особенно Желтухина Второго — тот вообще сидел в своей исповедальне в настоящем карантине, потому что был для остальных самцов *учителем*, «*старкой*». К нему подсаживали молодых кенарей — учиться настоящей песне. Так что флейта Разумовича была самым что ни на есть «нежелательным влиянием».

— Еще чего! — заявлял Зверолов. — Вначале флейта, потом телефон зазвонит, потом керосинчик запоеет, а потом мы до крика ишака докатимся. — И если бабушка, сурово поджимая губы, пыталась выступить в защиту «ученика» и его «разносторонних интересов», особенно ненаглядной флейты, Зверолов вытягивал указательный палец в сторону исповедальни и громко декламировал:

Флейты свищут, клевещут и злятся,
Что беда на твоём ободу!..

Однажды Илюша слышал, как Разумович пробормотал себе под нос, пожимая плечами, что, мол, не дом это, а «сухая канареечная чума, конецицитаты!..».

* * *

Там же, в садах, выпасала своих коз старая казашка баба Марья — маленькая, в накрученном на голову белом платке, в бархатной жилетке и длинной юбке, с большим, круглым, очень морщинистым лицом. Ее диковинный русский язык Илюше был непонятен и смешон, но бабушка понимала все и очень нежно с ней разговаривала. Иногда вполголоса упоминала, что Марьин муж, с тех пор как вернулся с войны и из лагерей, бьет ее смертным боем.

— За что? — тревожно спрашивал Илюша, оглядываясь на приветливо кивающую вслед им старуху: отойдешь на тыщу километров, обернешься, — а она все кивает и кивает.

— Контузия, — коротко бросала бабушка.

С бабой Марьей, вернее, с ее стадом, был связан дикий случай, тот, что потом бабушка именовала «скачками на козле», а Илюша сердился, краснел и таращил глаза, чтобы влага стыда и обиды не выкатилась на щеки. Это Зверолов уговорил Илюшу покататься на козле. Уверяя, что в древней Элладе (они как раз вечерами читали «Легенды и мифы

Древней Греции») на олимпиадах был такой вид соревнований. И, продолжая уговаривать заробевшего мальчика, поднял его под мышки, пронес канарейкой по воздуху и опустил на козла. Тот постоял, разбежался, резко наклонил голову и скинул Илюшу под откос, в валуны, оставшиеся от давнего селя. Так в них бедный Илюша и застрял — головой вниз. Громко причитая и охая смущенным басом, Зверолов его вытащил за ноги, и долго они обмывали у поливного крана ссадины и кровоподтеки. А потом очень долго шли домой через сады — молча, как чужие. Только перед самым крыльцом Зверолов попросил ничего не говорить «нашей грозной хозяйке». И Илюша кивнул — конечно же, ничего-ничего. Хотя было очень больно и хотелось пожаловаться. Но он Зверолова не выдал, а скандал — грандиозный! — все равно состоялся по полной домашней программе: темперамента и склонности к жестам и драматическим сценам (ау, цыганский предок Прохоров-Марьин-Серегин!) в семействе было с избытком.

* * *

Тут надо наконец пояснить, что Зверолов не обитал у сестры постоянно, хотя и жилал подолгу: последняя женщина, к которой его прибило, занудная старая учительница Елена Матвеевна, занимавшая комнату в коммуналке где-то в районе Зеленого базара, в конце концов выгнала его вместе со всеми канарейками. Да и то: канареек было штук двадцать, не помещались они в тесной комнате. А у сестры Зинаиды все уживались естественно и уютно: канарейки, ужи-ежи, величественная исповедальня, а в ней — Желтухин Второй с наследной семейной песенкой про «стаканчики граненые» и с грезами о тезде, что давно *в бозе почил*.

А еще раньше Зверолов жил в Ташкенте, и это тоже отдельная глава его одиссен, смешно и не без злорадства пересказываемая бабушкой. Якобы однажды он там обнаружил пустующий участок на берегу Салара и незаконно его занял. («Простодушно!» — поправлял Зверолов; «Незаконно!» — упрямо уточняла бабушка. Илюша в этом месте ее рассказа всегда представлял Зверолова на берегу *пустынных волн* Салара, в позе Петра, с рукой простертой: «Здесь будет город заложен назло надменному соседу!»)

На незаконном участке он простодушно построил дом, вырыл бассейн и напустил в него золотых рыбок, которые выросли до размера окуней; высадил чуть ли не пятьдесят сортов гладиолусов — от белоснежных до почти черных, цвета жженой пробки — и установил переносной туалет. («Простодушно?» — «Конечно, простодушно, мой ангел!») Еще одна навязчивая страсть, добавляла бабушка: ему поче-

му-то нравилось этот туалет переставлять. Так и носился по участку с переносным туалетом.

— В конце концов, — подытоживала она, делая последнюю стежку, склоняя к шпильке чернокошую корону и перекусывая нитку, — в конце концов земля понадобилась горсовету, и дом отобрали, а наш герой в свои шестьдесят пять лет остался бездомным.

Ну и отлично, втайне полагал Илюша, а то совсем было бы скучно жить. Зверолов же со своими канарейками, прибаутками, песенками, громоподобными утрами, внезапными исчезновениями и столь же внезапными появлениями очень украшал жизнь их, как говорил он, «сильно усеченного семейства».

Бабушка сердилась, когда это слышала. Тема усеченного семейства была запретной. Например, нельзя было спрашивать о смерти Илюшиных родителей — вернее, об их отсутствии. (Благопристойную смерть родителей в авиакатастрофе Илюша открыл в своих мечтаниях случайно, просто однажды натолкнулся на нее: ведь у каждого человека есть мама и папа? ну, хотя бы одна мама? ну, должны же они были куда-то деться, если сейчас их нет? — и постепенно смерть родителей проросла и отвердела страшными и втайне желанными деталями.)

На деле бабушка просто запрещала ему задавать любые вопросы на эту тему. Сухощавая, опрятная, всегда пахнущая какой-то лавандовой водой, которую сама и настаивала, с гладко выплетенной и выложенной надо лбом косой, черной даже в старости, была она человеком властным, прямолинейным и без воображения. Всякие детские «почему» и прочие «несдержанности» угрюмо игнорировала или обрывала простым кратким «помолчи!». Трудновато с ней приходилось. Бывало, проснувшись в плохом настроении, не разговаривала с внуком до полудня, так что он озадаченно пытался припомнить, не натворил ли чего. Илюша был крепеньким вихрастым мальчиком с дивными шоколадными глазами, тихо излучавшими мудрую кротость. Бабушку он не то что боялся, но предпочитал не будоражить этот вулкан, по собственному опыту зная силу его извержений.

...Итак, они умерли. Это хорошо. Спокойно. Туманных родителей он по умолчанию похоронил. Гибель матери хотелось бы как-то расцветить; мать представлялась мальчику полной противоположностью бабушке: нежно-воздушной полноватой блондинкой с розовым маникюром на нежных пальцах. Да, что-нибудь такое. Но все натякалось на тайну, на отсутствие деталей. А что можно выдумать про человека, о котором не знаешь ничего — ни цвета волос или глаз, ни как она училась, ни даже любила ли кататься на коньках, как он, Илюша, любит?

Однажды он слышал утреннюю перебранку бабушки со Звероловом, но было то на пробуждении, на переходе в яркую россыпь канареечного пения, так что все могло оказаться и продолжением сна. Его и разбудило бабушкино отрывистое, на взрыде: «...его мать!!!» — и еще какое-то сложное слово, связанное почему-то с кашей, с манной крупой. Что-то... «манка»? «Нимфо-манка»? И в ответ ей Зверолов:

— Ты безумна, Зинаида, бог тебя накажет!

— Он меня уже наказал!

А однажды — это было в первом классе, когда бабушка забрала его из школы и они шли к автобусной остановке, — Илюша заметил высокую, очень худую тетеньку, шедшую вровень с ними по другой стороне улицы. Заметил, потому что, слегка их обгоняя, она неотрывно смотрела на мальчика и раза три даже натыкалась на прохожих.

А когда Илюша обратил бабушкино внимание на странную тетеньку, бабушка обернулась и, больно вцепившись ему в руку (он почувствовал, как ее передернуло), прошипела:

— Не смей оборачиваться! Не смотри на нее!

— А кто это? — испуганно спросил мальчик. — Ты ее знаешь, ба?

— По-мол-чи! — как обычно, отчеканила бабушка и спустя минуту буркнула: — Какая-нибудь сумасшедшая...

Ну, сумасшедших-то Илюша любил. Встреча с безумцами всегда была — нечаянный театр. Две его знакомые чокнутые старушки ездили в троллейбусе номер девять — от проспекта Ленина до кинотеатра «Целинный».

Он никогда не видел их обеих одновременно, они словно принадлежали разным мирам и существовали в разных пространствах и временах года. Одна была летняя, другая — зимняя.

Летняя — русская, в мелких рыжих кудряшках, поверх которых, захватски кренясь, сидела нежно-бирюзовая грязная шляпка с цветами и ягодами. Весь ее облик — мятое личико, грубо зашпаклеванное застарелым потрескавшимся гримом, кокетливая блузка с рюшами на большой груди, цветастая юбка фасона «солнце-клеп» и обутые в полурасправленные туфельки некогда стройные ноги в страшных венах, будто оплетенные синими косами, — излучал тем не менее подлинно артистическое вдохновение.

Она входила в переднюю дверь, бодро подкидывая юбку узловатыми коленями, чинно брала билет и, обернувшись лицом к салону, принималась тоненьким голосом выводить что-то из области романсов.

Порой Илюша с удовольствием узнавал кое-что из домашнего репертуара Зверолова.

Вот это, например:

— Опустел наш сад, вас давно уж нет... Я брожу один, весь измученный. И нево-о-о-льные слезы капают пред увядшим кустом хризантэ-э-э-эм!

А вот это еще лучше:

— Не-е-е-т! не пурпурный руби-и-ин, не аметист лило-овый, не на-а-аглой белизной сверкающий алмаз! не подошли бы так к лучистости суровой холодных ваших глаз!.. — Тут небольшая лукавая пауза, и вначале медленно и врастяжку, затем все быстрее, завихряясь низким контральто: — ...Как этот то-онко ограненный, хранящий тайну темных руд! ничьим огнем не опаленный! в ништо на свете не влюбленный!.. — и, страстно откинув мятые кудряшки с иссеченного морщинами лба: — ...Темно-зелё-о-о-оный и-и-и-изумруд!..

Остановки через три-четыре выходила.

Другая, зимняя старуха, была казашкой, кряжистой, сильной и — так казалось мальчику — глубже погруженной в туман безумия. Но сила мужскую шляпу «без крыши», надвинутую на бледный широкий лоб, из дыры в низкой тулье выбивались два-три кустика жидких волос. Фантастический шарф возлежал у нее на плечах мужского полупальто, свисая чуть не до полу — длинный, широкий, необычайной пестроты, весь связанный из остатков ниток. Она ловила пестрый хвост шарфа руками в митенках (короткие сизые пальцы как-то непристойно из них топорщились) и закидывала за спину, поцелуйно вытягивая пунцовые, сильно преувеличенные карандашом губы. Но самым интригующим во внешности были две пары бровей: одни — родные, жиденькие, разрушенные безжалостной природой, другие — домиком над ними, нарисованные густой сурьмой. Эта запасная пара бровей почему-то пугала — словно грозный посланец явился. Но от кого? И — к кому?

Зимняя старушка читала отрывки длинных монологов. Илюша, конечно, не мог еще опознать их происхождение. Но однажды она вошла в троллейбус, когда Илюша ехал вдвоем со Звероловом, и тот, прослушав весь репертуар старухи, выданный прерывистым низким голосом, задумчиво проговорил:

— Во шпарат! Шекспир, Чехов, Мериме. А толку что, ежели мозги набекрень...

Когда она вышла, пробормотал себе под нос:

— И шестибровый серафим на перепутье нам явился.

Странным образом обе эти старухи, и летняя, и зимняя, напоминали Илюше канареек, то ли плохо обученных, то ли вдруг «заяривших» от неправильного обращения, но только уже безнадежно бракованных и никому не нужных.

3

Поскольку все детство Илюша сопровождал бабушку в ее «инспекциях» по апортовым садам, он тоже считал сады своими.

У него были тут особо любимые места — *свои* деревья, им посаженные (вроде выросшего из прутика желто-оранжевого куста ивы, за который Илюша всегда тревожился: по округе шлялись мужики-душегубы, что корзины плели; они безжалостно нарезали прутья даже у самых молодых деревьев); были *свои* дупла, пещеры, пни и коряги; «берлога» — яма, вырытая под огромным, с козырьком-крышей гранитным валуном, — да и сами прогретые солнцем замшело-крапчатые валуны, с накипью лишайников и ракушек, что намертво вросли в каменное тело за миллионы лет.

Это были его рыцарские владения: поместья, замки, леса для охоты, и он буйно, с гиканьем и свистом, властвовал над ними, но лишь когда играл один; вообще, он рос застенчивым мальчиком.

Особо любимой была «индейская пирога» — продолговатый, расколовшийся надвое огромный камень: он плыл в высокой заросли полыни к крепостной стене замка — кирпичному забору территории Горводоканала.

К «пирогам» они, гуляя в садах, приходили со Звероловом — слушать соловьев и наблюдать муравейники и осинные гнезда. Часто встречали там Земфиру — старшую и самую красивую дочь Абдурашитова; заметив их, та каменела широким прекрасным лицом, опускала пухлые веки длинных сердоликовых глаз и некоторое время шла за ними на приличном расстоянии. Илюше казалось, Зверолов повышал голос, чтобы и Земфира слышала про то, как сидел он в засаде на снежного барса (тогда еще они встречались высоко в горах). Вот какой наш Зверолов щедрый, думал Илюша, не жалко ему, чтобы каждый встречный слушал *наши* потрясающие истории. (То, что они так часто встречали тут Земфиру, совсем не казалось мальчику странным: за дочерьми Абдурашитова он готов был признать наследное право на сады.)

Именно здесь Зверолов научил его чувствовать «воздушный пирога» — загадочное и чудесное метеорологическое явление: вечерами в садах теплый и холодный воздух перемещались слоями, и теплый пах

яблоками, а холодный — стылым камнем и росными травами; и если стоять тихо-тихо, закрыв глаза, чувствуя кожей дыхание сада, то можно ощутить, как ходят волны — то один слой пирога, то другой.

— Ты вдыхай его, питайся, — говорил Зверолов, — ноздрями втягивай — смакуй... Хороший нюх человеку очень пригождается. Я зверя чую за километр...

Годы спустя Илья сокрушался, что многое позабыл из этих «ловчих» рассказов: избирательная детская память сохраняет образы, а не детали. То, как Зверолов часами сидел в засаде на снежного барса, помнил потому, что мгновенно и ясно представил его — огромного, по пояс в снегу, в меховой шапке, в тулупе; одни только черные брови шевелятся на белом от мороза лице. А дальше-то — что? Стреляли патронами со снотворным, вроде бы так? Вроде бы так, а точнее — где, у кого узнаешь? Вот и про ловушки — ямы, прикрытые ветвями, — поди разбери: помнил о них со слов Зверолова или видел гораздо позже в передаче «В мире животных»?

Зато подробно мог пересказать, как сачками ловят лягушек, и, вероятно, и сегодня смог бы завязать скользящую петлю на лассо, как учил его Зверолов, рассказывая про охоту на диких верблюдов и на лошадок Пржевальского.

Илюша ясно помнил день их последней осени: близкие горы, будто оправдывая свое название — Алатау, «пестрые», — принакрылись ворсистым густотканым ковром, с бесчисленными оттенками желто-багряных, пунцовых, ржаво-золотых кустов и деревьев. По небу кружили дырявые — пенка на молоке — облака. Плыли, сцепившись оборками, выпуская солнце на миг-другой и вновь пряча его за широкими кисейными подолами. Чуть пониже плавным хороводом кружили какие-то перелетные длинноногие птицы, нежно посылая вниз бесшумный плеск длиннопалых опаловых крыльев. А по земле, по деревьям и камням точно таким же хороводом кружили дырявые тени облаков, и, вынырнув на мгновение, солнце из последних сил согревало камень, где сидели Илюша со Звероловом.

Тот, раздевшись до пояса — «Лови последнее солнце!» (а и впрямь оказалось последним) — и вынув из кармана брюк длинную веревку, показывал, как мастерить скользящую петлю на настоящем лассо.

И в этом многослойном скользящем кружении на другом камне, напротив них молча сидела загадочная Земфира, похожая на красавца-принца из книжки казахских народных сказок...

Робкое солнце, возникая нырками, падало ей на лицо, всякий раз вылепливая его до алебастрового сияния, а ее прекрасные сердоликовые глаза то погружались в тень, то вспыхивали блестящей слезой.

И этих глаз она не сводила с мускулистых рук Зверолова, вяжущих узлы и петли.

Бедная... Она выучила этот его урок.

* * *

Маленьких степных лошадок со стоячими рыжими гривами Илюше было страшно жаль. Он не любил зоопарк и втайне, слушая рассказы Зверолова, всегда надеялся, что в конце какой-нибудь истории тот разведет руками и скажет: «Эх... сорвалось в тот раз!»

Но, как и бабушку, стеснялся огорчить и послушно тащился за ним в Парк культуры и отдыха имени Горького. А там послушно шагал мимо тесных бетонных отсеков, где метались степные волки, мимо бассейна с грязным белым медведем в зеленой воде, мимо клеток с угрюмыми орлами и беркутами, что взмахивали культями обрезанных крыльев.

Были там еще слоны, бегемоты, носорог и тапир — Зверолов шутил, что тот в белых трусах.

Просторнее всех — одна в вольере — жила большая черепаха, да еще верблюды: те хоть двигаться могли; впрочем, у них и морды такие, будто на людей им плевать.

Мальчик все это ненавидел; главное — ненавидел острый звериный запах, лучше повествующий о беде животных, чем любые рассказы.

После зоопарка всегда навещали старика Морковного. Тот жил в Татарке, неподалеку от Малой Станицы — некогда старой казачьей окраины. Татарка граничила с зоопарком, и потому днем и ночью над ее разбитыми, запутанными, тесными колеями улочек — шириной в одну то и дело застревающую машину — разносился вой, клекот и рык обитателей клеток.

Вообще, весь район Татарки (Зверолов говорил, что прежде здесь *по логике* обитало много татар, даже мечеть была) почему-то напоминал Илюше те глубокие гнезда из пашлычных палочек, что плели они со Звероловом для канареек.

Помимо типичных казачьих домов в полтора этажа — беленых, с наличниками и ставнями на окнах, с высоким крыльцом, окруженным курами, — встречались там дома из вагонных шпал. И если б не буйная зелень вокруг, выглядели бы эти угрюмые темные жилища с подслепо-

ватыми окошками совсем уж дико. Но вились по заборам голубые и розовые выюнки; цветники вокруг дома пестрели белыми и пунцовыми астрами, георгинами, мелкими сиреневыми хризантемами, барвинками и неизменными золотыми шарами.

А на заборах — в первых рядах партера — восседали пестрые сонмища кошек, и в каждом дворе мельтешили «звонки» — мелкие дворняжки.

Старик Морковный снимал комнату в полуподвале одного из таких домов. Найти его было легко: на крыше дома, чуть ли не единственная в Татарке, сидела огромная голубятня. Возможно, хозяева потому и терпели старика Морковного с его канарейками, что сами держали голубей и были заядлыми птичниками.

В кривоzubом заборе, захлестнутом высокими кустами бледно-розовой и бордовой мальвы, голубела калитка с осевшим левым плечом — отворить ее получалось, только если хорошенько приналечь, а там уж оголтелым перебрехом гостей встречала упряжка трех мелкотравчатых дворняг: рыжей, пегой и белой. Бездельники радовались любому поводу дать концерт, и пока меж кустов сентябринок гости шли по тропинке к дому — желтому, с ярко-синими наличниками и ставнями, — в спины им неслись вдохновенные переливы этого трио — хриплый гав, торопливый захлеб и визгливое дребезжание шавок.

В обитель жилья вела низкая дверь со двора, и надо было еще спуститься по семи ступеням крутой деревянной лестницы. Сразу ты попадал в настоящий птичник: клетки стояли одна на другой в четыре этажа, располагаясь рядами, как стеллажи в районной библиотеке. Воздух тут был густой, кормовой, перистый, перенасыщенный птичьими слабыми звучками.

Один свободный от клеток угол занимала «кушетка» — просто матрац, уложенный на доски и поставленный на кирпичи; в другом углу на кирпичных столбиках алтарем возвышалась старая газовая плита. Был еще самодельный дощатый стол, заставленный и заваленный какими-то коробками, пакетами и птичьим инвентарем. На уголке его, расчищенном «для разговору» и застеленном клеенкой, гостей ожидало непременно пиршество. Но — не сразу, не в начале вечера.

Долгое время Илюша был уверен, что Морковный — это не имя, а прозвище старика, данное потому, что в корм своим канарейкам он подкладывает кусочки моркови. Был тот настоящим «разводчиком», настоящим, по словам Зверолова, «канареечным охотником», хотя *охотника* Илюша представлял себе иначе: молодым, ловким, с сетью в

одной руке, с клеткой в другой. Но Зверолов старика уважал и покупал у него молодых самцов хорошей зеленой линии.

— О, Федор Григорыч — это!.. — говорил он. — Федор Григорыч, знаешь, в пятнадцать лет пацаном сел за руль и всю жизнь шоферил. А когда работал дальнобойщиком, даже в дорогу брал с собой кенаря в клеточке, чтоб пел в кабине. Во какой человек... страстный! (Определение «страстный» у Зверолова означало высшее одобрение.)

А вообще Илюша скучал, слушая неинтересные разговоры про спаривание птиц и содержание их в пролетных клетках, про «дрессировку» и про «отбивание брака». Порой в заветном ожидании прекрасного окончания вечера даже задремывал под эти разговоры, уютно пристроив на руках вихрастую голову. Просыпался — вернее, вздрагивал — от сильных выкриков Морковного:

— А я тебе скажу: столько брехни, сколько в нашем деле, — еще поискать! Мол, и в бочки кенарей сажали, и в чулках подвешивали, и палками с перьями щекотали... Это все мифы! Васильев тот — да, могу рассказать, как он птиц темнил, сам видел, своими глазами: он клетку ставил в ящик, ящик заворачивал в мешок, тот — еще в какой-то тулуп... и все это запиралось в шифоньер.

— А воздух-то, воздух?

— Что — воздух? Дышать как-то птица еще дышала, а вот шла-ела, надо думать, на ощупь. Куда твоему Желтухину!

— Да-а-а...

Комната, где обитал со своими канарейками Морковный, даже в самый яркий день была погружена в полуподвальный сумрак: свет в нее с трудом протискивался через два оконца, мало того, что под самым потолком, так еще снаружи, со двора заросшие барвинками. Поэтому дверь — снизу она казалась корабельным люком, распахнутым в синее небо, — почти весь день он держал открытой. С наступлением темноты старичок Морковный щелкал выключателем, и над столом загоралась низко висящая лысая лампа величиной с младенческую голову. Но кроме лампы обязательно запаливались три свечи в трех разностильных старых подсвечниках. Это тоже было — «для разговору».

И разговор длился и длился до ночи — можно было на месяц вперед под него выспаться. И про то, что лучшими канарейками в старину считались вовсе не с Полотняного завода, хотя и про тех худого слова не скажешь, а боровские; и что в Москве в Охотном ряду именно боровские шли первым сортом, а калужские, тульские и нижегородские шли вторым и третьим. И что настоящая «концертная» канарейка стояла когда-то дороже офицерской лошади, а «отучали» ее дудками и натурой...

Мальчик скучал, но, вышколенный бабушкой Зинаидой Константиновной, терпел в тайной надежде на гренки, которыми старик Морковный всегда угощал их на прощание. Жарил сразу в двух больших сковородах на своей старой плите — с ножом в руке подскакивая то к одной, то к другой сковороде, «подстерегая момент» и с фехтовальной ловкостью переворачивая гренку именно тогда, когда «щечка» зарумянивалась «в нужной кондиции». Толстые, сочные, с поджаристыми хрупкими кружевцами, обсыпанные угольками куриных шкварок, лука и чеснока — эти гренки стоили самого пропащего вечера.

И пока за столом шли все те же скучные разговоры о кормах — надо ли включать в зерновую смесь льняное семя («Ни в коем случае! — горячился старик Морковный. — Льняное семя — маслянистое, доведет птицу до ожирения, особенно во время линьки, убьет печень, расстроит пищеварение... Давать — только как слабительное. — И со страстным лицом повторял: — Только как слабительное!»), — Илюша, обжигаясь и шумно втягивая воздух, пользуясь тем, что бабушка не видит «этого безобразия», хватал гренки руками под одобрительные кивки старика Морковного, а запивал мутно-холодным, в нос шибавшим квасом — тоже самодельным, настоящим на яблоках, на апорте.

Домой возвращались поздно, по вымершим улицам — фонарей там сроду не водилось, — косясь на зловецкие заросли мальвы у заборов и непременно ошибаясь то поворотом, то переулком, то водной колонкой. И оттого, что они плутали, и оттого, что густая пахучая темень дрожала голосами зверей и птиц из зоопарка, и оттого, что голоса эти были исполнены тоски и угрозы, можно было представлять, что пробираются они опасными джунглями, под улюлюканье и вой преследующих индейцев...

Но даже и в эти минуты, перешибая ночную мощь травных и древесных запахов, догоняя их и обещая райское блаженство, над Татаркой витал аромат неописуемых гренек старика Морковного.

Позже, скучая по Зверолову, Илюша так и не решился однажды сесть в знакомый трамвай и кривыми тесными улицами, среди тополей и карагачей, поехать в Татарку «просто так». Бабушка сказала бы, что это неприлично; да и самому себе неохота было признаваться, что во многом им движет мечта еще хоть раз отведать незатейливой, но такой вкусной еды.

Зато он приходил к «индейской пироге» и подолгу оставался там один, привалившись спиной к нагретому солнцем валуну в кустах ежевики, вспоминая, как

они слушали здесь соловья («сладостно бушующего», сказал тогда Зверолов, вытирая глаза большим клетчатым платком), как ловили ежей и черепах, а однажды поймали даже ласку, и Плюша умолил отпустить ее на волю.

Но вскоре после смерти Зверолова там повесилась старшая, самая красивая дочь Абдурашитова Земфира, и мальчик («Опустел наш сад, вас давно уж нет...») перестал туда ходить, не сумев понять и принять молчаливого предательства сада, когда с веткой одного и того же дерева связаны высочайшее блаженство и непостижимые ужас и боль.

4

То, что Зверолов — отчаянный игрок, бабушка старательно и ревниво скрывала. Та еще лакировщица действительности была. Все, что ею расценивалось как «семейный позор», запрятывалось в такие подвалы-анналы, что из этих застенков мало что вырывалось. Удивительно, что не уничтожила весь архив. Много чего пожгла, это точно, и бесполезно сейчас догадываться, что именно. (Впрочем, почему бесполезно? Наверняка все то, что могло связать Илью с его несчастной матерью после бабушкиной кончины. Хотя прожила она так долго, что вполне могла пережить и свою таинственную преступную дочь.)

Совсем уж в глубокой ее старости выплывало на свет то одно, то другое. Вот, конный завод прадеда нарисовался — видимо, старуха сочла его безопасным (смешно: для кого — безопасным?). А перед смертью вдруг рассказала, как именно Зверолов просаживал деньги: срезал все свои гладиолусы, складывал в чемодан, летел в Москву, сдавал цветы знакомому на рынке — и мигом на ипподром. Кончалось все одинаково, судя по связке однообразных телеграмм, обнаруженных Ильей в бабушкином бюро после ее смерти: «Зинанда срочно телеграфом 50 (или 100) тчк Николай».

Биография Зверолова тоже сложилась у Ильи в самых общих чертах, уже спустя много лет после его смерти. И странно было осознать, что этот человек, проникнутый любовью к малым птицам, воевал, воевал и воевал: сначала в гренадерском полку Его Величества, потом в конной бригаде Котовского, затем — в Финскую, Отечественную... Он и строил, конечно, — Турксиб, например, и, вероятно, много чего еще.

Но главным было другое: его уникальная способность к мгновенным и внезапным исчезновениям и перемещениям в пространстве. Никогда и нигде он не жил подолгу. Любимой присказкой, если случалось куда отлучиться — неважно, на сколько, на четверть часа или

на полгода, — была: «Я мигом, фигара-здесь-фигара-там!», и потому, в отличие от остальных братьев и сестер, этот весьма заметный «фигара» ни разу не попал в лагерь — не успевали за ним.

В конце концов помнилось только то теплое, родное, что имело к Илье самое непосредственное отношение: как вечерами он качался у Зверолова на ноге, верхом на огромной ступне в войлочном тапке. А тот читал или слушал радио, будто и не замечая маленького всадника, что обнимал мощную икру, щекой прижимаясь к мягкой брючине фланелевой пижамы. Когда передавали «Полонез» Огинского — плакал: громадный, с черными кустистыми бровями и толстым носом, плакал и вытирал слезы большим клетчатым своим платком.

— Ты чего плачешь? — интересовался мальчик. — От музыки?

— От музыки, — соглашался тот. — Эту пьесу играла одна дорогая престная девочка. Мно-о-ого лет назад.

Вот что еще запомнилось: ссора взрослых перед шестым днем рождения Илюши, когда бабушка, заламывая руки, ходила за Звероловом по квартире, уговаривая не дарить мальчику привезенного из Ташкента ослика. Илюша не спал и слышал каждое слово; ужасно переживал, куда определяют ослика — в столовую? на веранду? Во дворе его держать не разрешили бы соседи — двор у них был общим. Бабушка то кричала тягучим шепотом, то ласково умоляла: ну, чего тебе еще, и так уже не квартира, а филиал зоопарка: черепахи, ежи, хомяки, канарейки!

Уговорила в конце концов. Но день был тяжелым, и вечер выдался под стать: сидели оба мрачные по разные стороны стола, раскладывали каждый свой пасьянс. Молчали.

Между прочим, в семействе гадали все. Вообще, карты в доме присутствовали вещественно и зримо, хотя играть в них было запрещено. Когда однажды в детстве Илюшу — он валялся тогда с ангиной — забежали проведать дворовые подружки, близнецы Нинка и Яся, и, увидев на столе карты, стали уговаривать его научиться «резать в дурачка», бабушка, застав это кощунство, с руганью вырвала карты из Нинкиных рук, подтвердив тем самым репутацию «злыдни».

Сама она гадала молча, ничего никому не говоря, свои карты в руки никому не давала. Никакой мистики и прочих глупостей в ее жестком характере не водилось в помине. Но... карты всегда в руках. Разложит — и тотчас смешает одним движением руки.

За неделю до Гулиных родов выложила — Илья случайно увидел — все смертные карты. Испугалась, побелела, быстро их смешала... И затихла.

* * *

В последние годы у Зверолова обнаружилась глаукома; он ее никак не лечил. Кажется, даже любовался некоторыми изменениями, принятыми ею в окружающий мир. Во всяком случае, Илюше хвастался:

— Исповедальню видишь? Просто шкаф, да? Во-о-от. А у меня она вся в лиловом мерцании... Окно видишь? Окно и окно, да? А у меня все оно сиянием охвачено, вроде северного: острые лучики — от белого до сиреневого.

Почему все оборвалось так нелепо и грустно; почему еще бодрый могучий старик ушел помирать (в коммуналку ушел, к своей скучной учительнице, которая как раз уехала на два месяца к сестре в Семипалатинск, да и вся коммуналка, все три комнаты — как только в пьесах бывает, чтобы сюжет сладился, — разъехалась на каникулы. Так и лежал там один до самого конца), для Ильи долго оставалось загадкой, как и загадочная бабушкина фраза о *легкой* его голове.

Бабушка всем объясняла, что Зверолов боялся ослепнуть и стать беспомощным, в тягость родным.

Чепуха! Ее обычная *лакировочная* версия.

«Как он *замучивал* себя?» — пытался представить Илюша.

Представлять было трудно, совсем невозможно: ведь напоследок Зверолов все равно должен был видеть свою нежную радугу, очарованным странником уйти, с *легкой головой*, в ореоле ее острых бело-сиреневых лучей...

Вот, собственно, и все — о нем. Осталось только добавить, что тахта, на которой он спал, называлась «рыдван»; чемодан, что под ней хранился, — «рундук». А еще по всему дому валялись химические карандаши — с Гражданской их полюбил, уверял, что писать удобно.

Илья впоследствии долго натыкался на эти карандаши по разным углам, разок подобрал и сам пристрастился; правда, удобно: послунил грифель, и вот, пожалте, — «не вырубешь топором».

* * *

В рундуке под «рыдваном» оказались:
плащ из бычьей кожи времен Гражданской войны;

кальсоны, рубашка, очки;
зеленое, легчайшее верблюжье одеяло;
справочники «Гладиолусы» и «Русская канарейка»;
неказистая белая монета царской чеканки: на одной стороне — затертый двуглавый орел, на обратной — буквы: «3 рубли на серебро 1828 Спб»;
и папка с документами.

В папке хранились мандат двадцатых годов на ношение огнестрельного оружия за подписью какого-то Якова Михайлова, телеграмма с просьбой о поставке лягушек для Ташкентского зоопарка, записки людей, безуспешно искавших его между Ташкентом и Алма-Атой, и старая коричневатая, с обломанными уголками карточка (понизу выведено славянской вязью: «Придворная фотография Я. Тираспольский и А. Горнштейн, г. Одесса»), на которой манерная, знойного облика девица губами тянулась к кенарю на жердочке.

Плащ был Илюше и раньше знаком — огромный, тяжелый, из толстой бычьей кожи, он мог стоять на полу сам, без человека внутри. От него довольно приятно пахло: кожей и чуть-чуть касторкой — смазывали на лето, чтобы не растрескался. В раннем детстве Илюша играл в нем, как в шалаше.

Так что плащ был давним знакомцем — помнится, летом они с бабушкой сообща выносили его во двор (весил он килограммов семь-восемь), переваливали через веревку и караулили, по очереди сидя посреди двора на старом венском стуле, из-за треснутого сиденья изгнанном из парадных стульев столового ранжиру.

Да, плащ был выдающийся, и кроя отменного. Илья потом видел похожий на Жеглове из места встречи, которое нельзя изменить: два ряда пуговиц, карманы-прорези, кожаный пояс с пряжкой и большой воротник, застегивающийся под горло, — тогда остается еще воротник маленький. Длинный черный плащ, даже Зверолову длинный: до середины икры.

Якобы тянулся за ним романтический шлейф: бабушка говорила, что в этом плаще Зверолов ночевал зимой под окнами какой-то одесской балерины. Ну, ночевал или не ночевал, балерины или кого там еще, а только плащ бабушка отдала Абдурашитову. Под зеленым легчайшим верблюжьим одеялом (полезная вещь!) много лет потом спал сам Илья, а позже — его единственная, обожаемая драгоценная дочь, которая...

Нет! Рановато о ней.

Сначала о канарейках.

Само собой, ухаживать за всем этим птичьим населением стало некому. Пригласили старика Морковного с Татарки, и тот за бесценок — да у бабушки и сил не было торговаться — забрал всех птиц, в том числе и Желтухина Второго. А главное, забрал исповедальню. Вот чего Илья долго не мог бабушке простить: она всегда мечтала избавиться от «этого саркофага». Хотя, если подумать, не лишать же такого выдающегося артиста, такого, по словам Зверолова, «страстного маэстро», как Желтухин Второй, его законного жилища.

Сделка свершилась, когда мальчик был в школе. Вернувшись, он застал странно пустую, странно облезлую и, главное, странно безмолвную комнату. «Опустел наш сад, вас давно уж нет...» Вот теперь Разумович мог играть на своей проклятой флейте до потери сознания.

Это потрясло Илюшу сильнее, чем сама смерть Зверолова, чем похороны, чем плывущая в гробу на плечах незнакомых и хмурых мужчин его *легкая голова* — голова человека, что вдруг *захотел умереть и потому не страдал*.

Весь вечер Илюша проплакал, словно лишь теперь понял, что Зверолов не вернется никогда. А может, в этом беспитичье и безмолвии его сердце подспудно прозрело образ *инного* безмолвия — того, что много лет спустя обрушится на любимое существо?..

5

К девятому этажу бетонно-стеклянной башни, населенной редакциями чуть ли не всех казахстанских газет и журналов, сладкими волнами поднимались одуряющие запахи из соседней кондитерской фабрики. Ароматы ванили, патоки, цукатов, горячего темного шоколада под конец дня становились невыносимы, а с голодухи даже тошнотворны — тем более что с утра просыпался Зеленый базар напротив, раскопегаривал свои тандыры, раздувал угли для шашлыков, насаживал кусочки баранины на палочки и выкладывал их рядом на мангалы.

Опрятные корейки выставляли на прилавки миски со своими остро-пахучими салатами и закусками, всеми этими пряными морковками, капустами, грибами, требухой, фунчозой, рыбным и мясным хе... Сухие терпкие струи запахов — перец, куркума, кинза, зира, барбарис — витали над мисками и горками разноцветных специй, и вся эта благоуханная отрава, смешавшись за день с приторным духом кондитерского рая, под вечер способна была довести голодного человека до обморока.

В редакции время от времени появлялся Ванильный Дед — старый казах с покалеченным лицом: правая половина была окаменелой

и какой-то рубчато-вельветовой; левая беспрестанно дергалась, будто он не переставал ухмыляться миру и людям. Ванильный Дед приносил ворованную на кондитерской фабрике ваниль, расфасованную в пробирки, заткнутые пробкой из жеваной газеты. Редакционные бабы ждали его появления с каким-то испуганным хозяйственным вождением (ходил он по одному ему известному графику), гоняся за ним по всем этажам здания, словно его товаром был не этот кондитерский вздор, а какое-нибудь спасительное заграничное лекарство для безнадежного больного.

— Ванильный Дед не появлялся? — влетая в комнату, спрашивала запыхавшаяся машинистка Люба. Ей отвечала корректор Александра Трофимовна:

— Бегите на третий, Люба. Должен быть там, если не ушел.

Илья терпеть не мог эту советскую стеклянную девятиэтажку, студеную зимой и нестерпимо душную летом. На всю редакцию республиканской пионерской газеты «Веселые отряды» был один бестолковый кондиционер, работавший в каком-то своем творческом режиме. Выросший на земле, в апортовых садах, Илья высоту ненавидел и втайне ее боялся. А в здании даже лестницы были мерзкими: ступени — просто бетонные плиты на опорах, сквозь них — пустота. Он предпочитал спускаться в лифте, но за годы студенчества пережил тут несколько землетрясений, однажды надолго застряв в темной и душной кабине; и пока, упершись лбом в фанерованную стенку, обреченно ожидал вызволения, думал почему-то о Желтухине Втором, который всю жизнь провел вот в такой крошечной тьме ради редких минут ликующего пения.

С тех пор твердо решил спускаться на своих двоих, стараясь, однако, не слишком заглядывать под ноги.

После работы Илья выскакивал из здания редакций и бежал на Зеленый базар: купить в забегаловке поджаристую кунжутную лепешку, острый домашний сыр с тмином и базиликом или запихнуть за щеку соленый курт — поскорей заесть першащую в горле кондитерскую сладость...

Уже в то студенческое время он начал лысеть — поразительно рано. Но высокий рост, обаятельная легкая сутулость и немного рассеянные, ироничные темно-карие глаза вполне обеспечивали ему внимание женщин, тем более что бабушкино «хорошее воспитание», столь дождавшееся ему в детстве и вконец осточертевшее в юности, как выяснилось, в любой компании выгодно его отличало.

Впрочем, его карьера покорителя женских сердец (три очень разных блицромана на первом же курсе; особенно приставучая благосклонность секретарши ректора Сони Сопрыкиной) оборвалась в тот воскресный день на Медео, когда он увидел Гулю — заметил ее на огромном спящем катке: в этом своем синем платье, с широченной юбкой, вихрящейся вокруг невероятно тонкой талии. Сидя на деревянной лавочке, он надевал коньки. И когда поднялся на ноги, чтобы выйти на лед, увидел впереди стремительное кружение синей юлы. Вмиг это напомнило ему облачно-журавлиное кружение далекого весеннего дня, и, возможно, поэтому Илью даже издали поразило сходство ее разгоряченного под горным весенним солнцем лица с почти забытым лицом Земфиры.

Он решительно подъехал и заговорил, мысленно благословляя свой какой-никакой *галантерейный* мужской опыт, а иначе не решился бы ни за что.

И после, счастливый, ошеломленный тем, что *получилось*, на очень легких после коньков ногах повел угощать ее пашлыком — много их, пашлычников, стояло вдоль дороги: пряный синий дымок в холодном воздухе. И ели они стоя, жадно стаскивая зубами с палочек кусочки вкуснейшей баранины. Под мостом среди снега, льда и камней стеклянно брэнчала речка. Футляр со скрипкой (после катка Гюзаль должна была ехать на репетицию) он неудобно и осторожно держал под мышкой, боясь уронить и время от времени делая вид, что роняет, — тогда она округляла в испуге длинные сердоликовые глаза под высокими *ласточкинскими* бровями.

Это было время его короткого и вялого мятежа против бабушки: борясь за свою хотя бы номинальную самостоятельность и взрослость, он не брал у нее денег, не сообщал, когда придет домой, а однажды, не предупредив, остался ночевать у сокурсника, о чем потом сильно сожалел: вернувшись, застал ее в состоянии невменяемом: испугленные глаза блестели окаменелым горем, руки тряслись, а Разумович, оказывается, за ночь успел обегать все больницы и морги.

— Да что, что со мной может случиться?! — кричал Илья.

— Прекратите третировать бедную старуху! — сквозь зубы сказал ему Разумович, и оттого, что тот, знаящий Илью с младенчества, вдруг обратился к нему на «вы», а бабушку назвал «старухой», Илья замешкался, криво ухмыльнулся, собираясь с ответом, но уже в следующую минуту понял, что проиграл, и мысленно махнул рукой на свои революционные потуги. Конец цитаты.

Кстати, в редакцию «Веселых отрядов» его пристроила племянница Разумовича, работавшая там корректором. И все годы учебы в институте Илья исправно отсидел в отделе писем, среди синих и красных карточек, на которых требовалось записывать адрес и имя корреспондента. Поначалу его удручала возня с бесконечными конвертами, тем более что каждого новенького подвергали своеобразной дедовщине, исподтишка наблюдая, как бедняга облизывает уголок, прежде чем заклеить конверт. Один, другой конверт, десятый... и вот уже омерзительный вкус клея во рту, шершавый язык одеревенел и еле шевелится. И тогда насмешники разъясняли с невинными лицами, что существуют кисточка или губка да стакан с водой, а конверты можно выложить елочкой — вот так, чтоб уголки с клеем один под другим: мазнул сразу все — и заклеил.

* * *

В один из августовских вечеров, что разливают в воздухе странное желтоватое свечение, Илья с завернутым в кулек увесистым куском *ла-номьяна* — рассольного острого сыра, похожего на брынзу, — вышел из центрального павильона Зеленого базара на улицу Горького. На ходу развернув бумагу и жадно отхватывая зубами ломти сыра прямо из кулька, он чуть не столкнулся с каким-то стариком — тот стоял у него на дороге с птичьей клеткой в руке. Илья чертыхнулся, извинился, притормозил. Вообще-то старики с клетками околачивались на Тастаке — был там птичий рынок. Но этот, видимо, где-то неподалеку жил, а до Тастака добираться сил уже не хватало: совсем изношенный старичок, в одной руке клетка, другая, паркинсоновая — с самодельной, приплясывающей палкой.

Но дело не в этом; чем-то его старик зацепил, напомнил что-то смутное, давно забытое: какую-то мальву у заборов, заливистую брехню дворняжек, звяканье ведер вокруг уличной колонки...

А тот, заметив, как Илья замедлил шаг и внезапно остановился, крикнул неожиданно громким петушиным говорком:

— Молодой человек! Купите кенаря, не пожалеете! Старинный народный промысел, благородный овсянистый напев, замечательная раскладистость! Купите, ей-богу! Дом, где птицы поют, никакого сглазу не боится!

И вдохновленный тем, что юноша не уходит, а все стоит, неподвижно уставясь на клетку в руке продавца, надал дребезжащего голоса:

— Этот кенарь — не просто певец, а большой артист! Знаменитая желтая линия. Потомство легендарного Желтухина!

— Желтухина?! — Илья рванул к нему так, что сыр вывалился из кулька и шмякнулся под ноги. Но ему не до сыра было: неужели перед ним старичок Морковный?! Неужели дотянул до нынешних времен?! Да сколько ж ему теперь?! Фу-ты, забыл имя-отчество... — Вы... простите, вы — Морковный? — Илья почему-то страшно разволновался и растрогался. Словно перед его глазами возник сам Зверолов, пусть даже тень его. — Вы меня, конечно, не помните. Я — внучатый племянник Николая Константиновича Каблукова. Мы приходили к вам, и вы... гренки жарили... и квас был еще, очень вкусный!

— Что ж — гренки, — ничуть не смутившись, ни на мгновение не запнувшись, отозвался старик Морковный. — Я б тебе, сынок, и сейчас гренки замастырил хоть куда... кабы яичек штуки три-четыре, а?

Минут через двадцать они уже ехали в такси к старику Морковному в Татарку, все той же заблудистой сетью улочек, мимо заборов, полоненных неряшливой розовой и белой мальвой. В одной руке Илья держал клетку с наследником Желтухина Второго, а в другой, так же осторожно — бумажный пакет с десятком яиц.

И точно в детство вернулся: старик Морковный, Федор Григорьич, так и жил у тех же хозяев, в своей большой странной комнате в полу-подвале.

— Скажу тебе как родному, Илюша: другие давно б меня выгнали, уж очень я им задолжал по всем статьям.

А главное, едва спустился по хлипкой крутой лестнице (голову-то теперь пришлось хорошенько пригнуть) — точно родное существо встретил: в сумраке полуподвала у единственно свободной от клеток стены стояла исповедальня. Будто все эти годы ждала его, притихшая темная утроба. И уже не казалась такой величественной, как в детстве. Просто нелепое культовое сооружение, нечто вроде двойной телефонной кабины с приступочкой, изумительно сработанное старинным мастером. И, конечно, в ней уже не было, не могло быть легендарного Желтухина Второго с его «стаканчиками гранеными». Вообще, клеток у Морковного явно поубавилось:

— Пораспродал молодых кенарей, Илюша, надо как-то сводить концы с концами. — Заметив, что Илья то и дело оборачивается на исповедальню, вкрадчиво добавил: — Но шкаф — он, конечно, по-прежнему обитаем. И жилец, доложу, очень серьезный... *Тебе*, — голосом приналега, — покажу.

Открыл пузатую резную дверцу, нырнул по пояс вглубь, шебурша там, возясь в темноте. Наконец, извлек наружу клетку — акушер так из-

влекает младенца из утробы матери — и поставил ее в центр стола. Не-приметный блекло-желтый кенарь озирался на жердочке. Несколько мгновений в воздухе легчайшими перышками мерцали его вздохи-по-пискивания, затем вздулся тугой шар тишины, и в нем вначале короткими побаловками, низами, синичкой грянула звонкая серебристая россыпь, широко и вольно разливаясь, вознося мелодию ввысь, заплетая длинные витые пряди, подстегивая себя увертливой скороговоркой флейты. На особо трогательном переходе от овсянки к бубенцам у Ильи ждалось горло, на глаза — хорошо, что свету маловато, — на-вернулись слезы. Вспомнились их *джунглевые* утра, высоченная фигура Зверолова с закинутой, как у птенца, головой, сердитое бабушкино ворчание про «переносчиков заразы». Все так ярко вдруг ожило перед ним в череде рассыпчатых канареечных колен...

Это была *плановая* песня хорошего певца. И заканчивалась артистично: звонкими отбоями.

— Спасибо, — проговорил Илья, приходя в себя после песни, смущенной улыбкой благодаря то ли Морковного, то ли самого кенаря. — Спасибо. Я куплю у вас, Федор Григорыч, самца? Вы мне только порасскажите кое-что из дела... Хотя я помню, конечно, многое помню от... дяди Коли.

— Дорогой ты мой! — вскинулся старик. — Да я тебе все передам, всю душу свою канареечную, только знай — бери!

Весь вечер он, как бывало, захлеб и почему-то сердито говорил о своем: о кормах, о том, что к каждому самцу требуется подход: ежели он слишком темпераментный, так ты его раскорми, чтоб позже *вышел на песню*, чтоб не *заявил*. А другого, *хладнокровного* — наоборот, корми меньше, но зато стимулирующими кормами. И что все зависит от степени *профванности*, то есть выхода на песню...

И так же аппетитно скворчали восхитительные гренки на двух сквородах, исправно ворочаясь с боку на бок.

— А квас, Илюша, нынче мне не по карману, извини. Да и хлопотно, вон рука-то... ходуном ходит.

Илья просидел у Морковного до ночи и ушел, унося в маленькой клетке кенаря, молодого самца, Желтухина — а как же иначе — Третьего, первого питомца, с которого затеплилась его личная страсть, его канароводная звезда, будто сам Зверолов через своего едва ли не потустороннего посланника озаботился приставить к покинутому делу «внучонка».

Странно только было, что старик Морковный почти не вспоминал Зверолова, как это было бы понятно и очень даже приятно Илье. Толь-

ко напоследок, когда прощались у лестницы, ведущей к двери-люку, распахнутому в желтоватую тьму августовской ночи, сдержанно проговорил:

— А ты другой...

— Что — другой?

— Другой, чем он. Ты смиренный. Тихий. Это в нашем терпеливом деле гораздо лучше. Николай — тот буйным был, и во всем — буйным: в жизни, в канарейках... в женщинах. Я ж говорил ему тогда: как ты мог, старый подлец, — девочку, девочку! — в себя влюбить...

Вгляделся в полутьме в обомлевшее лицо Ильи и зашнулся:

— А ты что... не знал, выходит?

— Не понимаю... — пробормотал юноша. — О чем — не знал? Вы что... вы...

— Ну так дочка же... несчастная девочка этого садового егеря...

Илья аж в перила лестницы вцепился, чтобы на ступеньку не осесть, — так тело огузло. Вмиг пронеслось: кружение молочной пенки облаков на высоких небесах, обнаженные сильные плечи и грудь Зверолова с печатным пряником верблюжьего копыта, его мускулистые руки, ловко затягивающие узлы на скользящей петле. И — бес- сильными плетями висящие руки Абдурашитова на похоронах дочери.

«Опустел наш сад, вас давно уж нет...»

— Вишь, как оно выходит, если буйствовать, — вздохнул старичок Морковный. — Хотел он ее отпустить своей смертью, а оно вон как повернулось: это она своей смертью его догнала и уже не отпустила...

* * *

С того вечера он часто заглядывал к старику, иногда в неделю раз, а бывало, и чаще. И всегда находилось о чем потолковать, тем более что Илья только приступал к дотошному постижению канароводного дела. Морковный же был — неутомимый рапсод своей страсти. Глубокий старик, слабеющий с каждым днем, он оживлялся только на теме жизненного промысла: на канарейках. У него и голос становился тверже, и рука будто меньше тряслась.

Сидели за гренками целыми вечерами, потом еще минут сорок договаривали, стоя у лестницы под распахнутой в небо дверью.

И однажды Илья решился.

— Федор Григорьич, я вот что хотел... Только не думайте, что непременно обязаны рассказать, но даруг вы что-то... может, слы-

шали, пусть даже сплетни, мне все равно! А если нет, то простите и забудьте.

Они опять прощались, стоя под распахнутой дверью. Высоко вокруг лампы вилась золотая мошкара. Илья, как в медленном сне, пытался вымолвить, произнести слово, реже которого он вряд ли что в жизни произносил. Наконец, выдохнул:

— Моя мать. Вы, случайно, не знаете о ней?

Морковный помолчал, рассматривая лицо Ильи, будто сверяя его черты с чертами кого-то забытого, отринутого, возможно, и преступного.

— А сам не знаешь? — спросил он.

— Нет.

— Ну, так тебе, значит, и не велено знать.

— Кем не велено? — оторопел Илья, думая, что старик имеет в виду бабушку Зинаиду Константиновну с ее строгостями, под старость уже смешными.

Но тот, очевидно, отнюдь не бабушку держал в уме. Молча подняв указательный палец трясущейся руки вровень с плечом и ткнул им в потолок. И палец этот ходил и ходил, точно отыскивал где-то там, вверху — возможно, в небе самом — единственную достойную цель. Потом опустил руку, помолчал и устало добавил:

— Я, мил ты мой, толком не скажу. Николай рассказывал, а я уж и не помню подробностей. Но тяжелая вышла история с этой ее дочерью.

— Чьей? Чьей дочерью? — чуть не крикнул Илья.

— Ну так... Зинаиды дочерью, чьей же еще, — недоуменно отозвался старик. — Татьяной ее звали... Вроде она с детства была такой... убегала и убегала...

Золотая мошкара вилась под прилококой вокруг лампы, добавляя к звездной россыпи блестящее канареечное мельтешение. Сердце Ильи тяжело бухало о ребра. Рука сжималась и разжималась, будто припоминающая жесткую хватку бабушкиной ладони, все детство не отпускавшей руки внука.

— Николай говорил, это болезнь такая, вот забыл, как называется: человек бежит, бежит... сам не знает куда. Только на месте оставаться не может никак. И вот она, значит, девочка, ее дочь... убегала лет с двенадцати. Мать головой о стенку билась: сначала молила, потом под замок сажала, а после уже напрямую в милицию — с воем: помогите, мол. В какие-то закрытые интернаты девчонку определяли, так она — где обманом, где ловкостью — отовсюду выворачивалась и убегала. Ну, и... однажды явилась домой не одна, а... — Он взглянул на Илью и оборвал себя.

— Не одна, а со мной, — закончил тот. Повернулся и взбежал, раскачивая лестницу, в черное небо, пересыпанное огоньками невозмутимых звезд.

* * *

Года через полтора старик Морковный умер.

Выпустил утром птиц полетать, прилег на топчан и уснул под сенью желто-зеленых крыл — что может быть прекрасней? Нарядная, благостная смерть.

Оказалось, что он оставил бумагу, в которой ясным крупным почерком в одном предложении отписал Илье все свое птичье хозяйство вместе с «дубовым шкафом».

Гуля тогда уже была беременна и тяжело носила, вся опухла, но с веселым недоумением смотрела, как, пыхтя и шепотом матерясь, чтобы не услышала бабушка, два сослуживца Ильи помогали втаскивать в дом тяжелую резную громадину, от которой до сих пор еле слышно, перешибая запах птичьего корма и перьев, веяло тревожным церковным запахом — возможно, что и ладаном.

— Это алтарь? — спрашивала Гуля. — Это... купель? Паперть?

Так исповедашня проделала челночный рейс, вновь причалив на окраине апортовых садов. И встала у той же самой слепой беззаконной стены, рядом с финиковой пальмой, выращенной из косточки.

В раннем детстве в ней любила прятаться дочь Ильи Айя, будто врожденной ее глухоты недостаточно было, чтобы отгородиться от мира, — Айя, кровиночка, вина и награда, его горькое счастье...

Но — нет, не о ней еще. Это так, к слову пришлось: просто Айя пряталась в исповедальне, как маленький Илюша когда-то прятался в стоймя стоявшем знаменитом плаще-шалаше — том самом, в котором влюбленный Зверолов спал зимой под окнами одной всеми забытой одесской балерины...

ДОМ ЭТИНГЕРА

1

Да никакой балериной она не была! И не бывает балерин с такой грудью. Тоже мне хозяйство — балерина: полфунта жил на трудовых мослах. Нет, Эська заколачивала тапершей в синема, и заколачивала крепкими пальчиками, и остро глядела в ноты, читая с листа, а грудь у нее была... как две виноградные грозди («Песнь песней» в исполнении хора поклонников) — как виноградные грозди, созревшие свободно и сладко в ее неполные шестнадцать лет.

Спал ли некий Николай Константинович Каблуков под окнами ее дома? Вполне вероятно; да и кто бы пустил его спать в иное место? Много их околачивалось под ее окнами, любителей ноты переворачивать; возможно, кто и прилег к устатку.

Но в семье он запомнился: подаренный им кенарь по кличке Желтухин прожил ни много ни мало — да бывает ли такое?! — двадцать один год. Шутка ли? Двадцать один год, копеечка в копеечку, семья просыпалась под надрывную песенку «Стаканчики граненая», высвистываемую Желтухиным с такими фиоритурами, что любой тенор позавидует. Немудрено, что эта песенка въелась в быт, нравы и эпос данного семейства.

Кстати, о теноре.

Изрядные голосовые достоинства (помимо прочего музыкального блеска) были присущи всем мужчинам «Дома Этингера», как говаривал сам Большой Этингер — Гаврила Оскарович, он же Герц Соломонович, но все тот же Этингер, хоть ты тресни. Так вот, немалые достоинства тенорового регистра демонстрировал и он сам, и его единственный, спинувший в чекистском аду, но перед тем проклятый им сын Яша, и...

...и — забегая вперед — правнук его, тот последний по времени Этингер, «выблядок Этингер», в ком выдающиеся теноровые свойства воплотились в предельной мере: в гибком его, пленительном контратеноре, этом ангельском то ли стоне, то ли вое, то ли канареечной россыпи (столь странной в теле мужчины), — словом, тот «последний по времени Этингер», которому аплодирует публика в разных залах мира.

Вообще, если уж мы заговорили о музыке и о Доме Этингера, то надо бы захватить пригоршню времени поглубже и пошире, насколько хватит глаз; полновесной октавой взять, черпнуть глубоким ковшом, в который угодил бы даже и Соломон Этингер, тот николаевский солдат из кантонистов, трубач военного оркестра, запевала и буйн, который всю жизнь утверждал, что его, десятилетнего мальчика, пойманного «ловчиком» где-то в местечке под Вильно и увезенного в телеге с такими же перепуганными еврейскими мальчиками на Урал, в живодерню кантонистской рекрутчины, спас только залиvistый дискант, впоследствии излившийся в тенор, странно высокий для человека столь могучей комплекции; спас, подкормил и в люди вывел: «Ох, кабы не мой соловей-соловей-пташечка!»

После двадцати пяти лет военной службы (напоследок он оттрубил и отпел Крымскую кампанию) Соломон осел в местечке под Полтавой и женился на дочери местного раввина. Хроменькая девушка была и болезненная по женской части, но все ж раввинская дочь. Да и он, если трезво глянуть: солдат, конечно, хуже голя, невежа в райских кущах святых наших книг, но все ж георгиевский кавалер, да и сорок-то целковиков кантонистской пенсии от царя-батюшки тоже, поди, на земле не валяются.

И вот, случается ж такое чудо — мощь чресел библейских старцев! — прожив в бездетном браке десять лет, уже в преклонном возрасте ухитрился родить со своей хромоножкой глазастого и ушастого сынка Герцэле и обучить его...

...и обучить его не только игре на нескольких инструментах, но и способности к выдающейся мимикрии — во всем, в том числе и в такой мелочи, как перемена места жительства, привычного окружения и имени.

— Имена — вздор, — говаривал отставной николаевский солдат. — Я тебе на свист отзовусь. Когда нас, пацанов-кантонистов, крестил полковой батюшка, — (в баню загнали, якобы мыться, а после окатили всех холодной водой из шаек), — мне имя дали, Никита Михайлов, и служил я под ним царю и России двадцать пять лет. «Отче наш» во сне отбарабаню. Ну так что ж? Какая в том беда Дому Этингера?

Стоит ли говорить, что сын его Герц — Гаврила — был, как и положено по закону, обрезан на восьмой день своей жизни, и, прислушиваясь к звенящему крику младенца, его папаша, запевала и буян, одобрительно заметил: тенор, мол. И ведь в точку попал.

Но место в оркестре знаменитого Оперного театра города Одессы Гаврила Оскарович получил в свое время вовсе не как тенор, а как — поклон папаше-кантонисту — незаурядный кларнетист.

К тому времени он был удачно женат на Доре Маранц, дочери известного в Одессе биржевого маклера Моисея Маранца, члена правления кредитного общества и ловкого хлебного спекулянта, которого не могла разорить даже постоянная карточная игра. В приданое дочери, к нескольким недурным семейным драгоценностям, размашистый и громогласный папаша Маранц присовокупил шестикомнатную квартиру в новом доме на углу Ришельевской и Большой Арнаутской — великолепную фасадную квартиру в бельэтаже, со всеми новомодными «штуковинами»: электрическими лампами, паровым, но и каминным отоплением, ванной и туалетной комнатами и чугунной печью в просторной кухне, из которой деревянная лесенка взбегала на антресоль, в комнатку для прислуги.

* * *

Дора была женщиной изумительно стервячего нрава, зато обладала монументальным бюстом.

— Ге-е-ерцль!!! Где моя грудка-а?! — с этого начиналось каждое утро.

Обслужить этот бюст могла только знаменитая одесская портниха Полина Эрнестовна: каждый год она шла Доре Моисеевне специальный лиф, напоминавший бронированное сооружение со шнуровкой. Вот его-то Дора и называла «трудкой».

Каждое утро первый кларнет оркестра оперного театра Гаврила Оскарович Этингер, бывало, уже и одетый, и при бабочке, сжав зубы, шнуровал супругу, упираясь коленом в ее обширную поясницу. Он ненавидел «трудку», ненавидел ежеутреннее шнурование и ненавидел Дору. В те минуты, когда его сильные пальцы профессионального музыканта тянули шнуры и вязали узлы, он мечтал оказаться вдали от супружеской спальни и от Дориной откляченной задницы — приложив к губам мундштук кларнета, искоса поглядывать в ложу второго яруса, где в бархатной полутьме, смутно белея истомной ручкой на пурпуре

барьера, маячит белокурая Ариадна Арнольдовна фон Шнеллер, дочка антрепренера театра. Она всегда приходила на утренние репетиции, и ее тишайшее присутствие волновало сердца многих семейных оркестрантов. (Ну так что ж, скажем мы вслед николаевскому солдату, — какая в том беда Дому Этингера?)

А вот о ком следует упомянуть особо, так это о Полине Эрнестовне.

О, эта дама заслуживает некоторой остановки в повествовании, своих пяти минут восхищения и оваций.

Бесподобно уродливая, одышловая, лохматая, с большими ногами, со страшными круглыми бородавками по всему лицу, Полина Эрнестовна была гением линии и формы. Обшивала она артистов оперного театра и одесскую аристократию. За работу брала дорого и несуразно: не за изделие, не за час — за день шитья. Потому к заказчику приходила жить. И жила неделями, неторопливо обшивая всю семью. Но перед «работой» являлась с визитом загодя, дня за три, и, бывало, с самого утра и до полудня сидела с хозяйкой и кухаркой, обсуждая подробное меню:

— Значитца, олады у нас записаны на четверьг, файв-о-клок? — уточняла, почесывая указательным пальцем главную свою бородавку на лбу: черноземную, урожайную на конский волос, ту, что в профиль придавала ее отежнему лицу неожиданный ракурс устремленного к бою единорога. — Тогда в пятницу на *завтрек* — заливная рыба с хреном и с гренками. И смотри, Стеша, не передержи! В прошлом разе вышло суховато.

Заказчицы шли на все, благоговели, трепетали. Портниха была богоподобная: ваяла Образ, создавала Новую Женщину.

В назначенный день, незадолго до завтрака, на квартиру к Полине Эрнестовне посылался дворничий сын Сергей, и оттуда, со пшвейной машинкой «Зингер» на спине, отдуваясь и тихо под нос себе матерясь, он отбывал *до квартиры* Этингеров. За ним на извозчике, с саквояжем на слоновьих коленях следовала сама Полина Эрнестовна.

Выкроек она не знала. Царственным движением руки, широким жестом сеятеля в поле набрасывала материю на стол, вынимала из чехла большие ножницы и — к черту мелки-булавки-стежки-прихватки! — на глаз, по наитию вырезала силуэт платья, затем молниеносно приметывала и *уаживала* его на фигуру. Эта неопрятная карга, своими бородавками пугающая малых деток, изумительно чувствовала форму.

Заказчиц и их робкие пожелания в расчет не брала: эдакий вздор, отрезной верх — при ваших ногах-колонках?! при вашем животе-по-

духе?! Не делайте мне головную боль! И отмахивалась — великий стратег, ваятель Фидий, единорог перед битвой. Вот так, так и так. Ну, пожалуй, плечики можно поднять, чуток выровнять ваш горб, мадам Черниточенко...

Полина Эрнестовна сама изобретала модели, да что там — она была родоначальницей нового стиля: «долой корсеты!» Долой-то долой, добавим мы вскользь, но только не в случае Доры. Той она при первой же встрече заявила:

— Мы закуем тебя в латы, Дормосевна, солнце. Ты у нас будешь Орлеанской Девой, а не дойной коровой...

Не любила она две вещи: во-первых, возню с обработкой швов (оперные костюмы не нуждаются в мелких глупостях: выходит в «Онегине» дородная Татьяна в лиловом сарафане, сидящем на ней как влитой — и кто там из зала станет разглядывать, насколько тщательно обработаны швы?), во-вторых, крутить ручку «Зингера».

Ручку крутил кто-либо из домашних — обычно Стеша (кухарка, прислуга, приبلуда... но о ней позже, позже, в свое время). Если же какой-нибудь пирог или жаркое требовали неотлучного присутствия той на кухне — звали дворничьего сына Сергея; ежели и он отлучился от ворот, рекрутировали старшенького, гимназиста Яшу. А вот когда, бывало, и Яша усвистал, и Гаврила Оскарович на репетиции... так тут уж чего? Тут уж на ручку «Зингера» безропотно, что было ей не свойственно, наваливалась сама Дора и, тяжело колыхая незаурядными выменами, прилежно крутила, и крутила, и крутила, смахивая пот со лба, искоса любуясь бисерной стежкой двойного шва, выплывавшего на атласную голубую гладь очередной «грудки».

* * *

«Большим Этингером» Гаврилу Оскаровича за глаза почтительно называли все — коллеги, знакомые, соседи, жена, прислуга... Он и вправду был большим: два аршина двенадцать вершков росту, с красивой крупной головой, увенчанной весело рассыпчатым каштановым коком. На крышке концертного фортепиано в гостиной стояла фотография в серебряной рамке: он с Федором Ивановичем Шаляпиным в дни гастролей того в Одессе — два великана, в чем-то даже похожих.

Была во всем облике Большого Этингера некая размашистая элегантность, непринужденная уверенность в себе, доброжелательная порывистость эмоций. Музыкантом был до кончиков длинных, нервных, с приплюснутыми «кларнетными» подушечками пальцев, и все интересы жизни сосредоточены только на ней — на Музыке! При всей

оркестровой занятости преподавал в музыкальном училище по классу кларнета, состоял в попечительских советах трех благотворительных обществ, а кроме того, руководил хором знаменитой Бродской синагоги, куда на праздники и на субботние богослужения являлись даже и неевреи, даже и христианские священники — послушать игру немецкого органиста из лютеранской церкви, а также изумительные голоса, среди которых сильный драматический тенор Гаврилы Оскаровича вел далеко не последние партии.

Как известно, в начале двадцатого века Одесса была помешана на вундеркиндах. Помимо музыкального училища, в городе, как почки по весне, возникали и лопались частные музыкальные курсы. Чего стоил один только великий малограмотный Столярский со своей «школой имени мене», Петр Соломонович Столярский, часами стоявший перед детьми на коленях, ибо именно с такой «позитии» ему удобнее было наблюдать игру и исправлять ошибки.

Само собой разумеется, что детей своих, сына Якова и дочь Эсфирь, Гаврила Оскарович с детства приладил к занятиям музыкой: он всегда мечтал о семейном ансамбле.

Вообще, как все дети из приличных семейств, они, конечно, учились в гимназиях: Яша — в Четвертой мужской, на углу Пушкинской и Греческой, Эсфирь — в Женской Второй классической, угол Старо-портофранковской и Торговой (образцовое, заметим в скобках, учебное заведение). Кроме того, до Яшиных пятнадцати лет в семье жила Ада Яновна Рипс, дальняя родственница из Мемеля, обучавшая детей французскому и немецкому; заполошная старая дева, подверженная приступам внезапной и необъяснимой паники, она покрикивала на них то на одном, то на другом языке.

Дора считала этот метод идеальным, *жизненным*.

— Главное, чтоб за словом в карман не лезли!

— Неглубокий же тот карман! — иронически отзывался на это Гаврила Оскарович. Тем не менее дети неплохо болтали на обоих языках, чего не скажешь о самой Аде Яновне относительно языка русского. Несколько ее выдающихся фраз вошли в семейный обиход, намного пережив саму эту, похожую на встрепанную галку, старуху в пенсне. «*Уму не растяжимо!*» — восклицала она, услышав пикантную, радостную или горестную новость. Диагнозом чуть ли не всех болезней у нее было решительное: «*Это на нервной почке!*» Она путала понятия «кавардак» и «каламбур» («В голове у нашего Яши полный каламбур!»), «набалдашник» называла «балдахином», гостей и домашних провожала пожела-

нием «*ни пуха, ни праха!*», а когда в семейных застольях галантный и насмешливый Гаврила Оскарович неизменно поднимал тост за здоровье «нашей дорогой Ады Яновны, великой наставницы двух юных разбойников», — она столь же неизменно всхлипывала и страстно выдыхала: «Я перегу их, как синицу — окунь!»

Но все это общее *так себе образование* (включая гимназии) отец рассматривал исключительно как домашнюю уступку жене, как несущественную прелюдию к образованию *настоящему*. Ибо Гаврила Оскарович Этингер не мыслил будущего своих детей без музыки и сцены, без волнующего сумрака закулисья, где витает чудная смесь пыли, запахов и звуков: дальняя распевка баритона, разноголосица инструментов, рыдания костюмерши, которую минуту назад примадонна назвала «безрукой идиоткой»... но главное, праздничный гул оживленной публики, заполняющей полуторатысячный зал, — тот истинно оперный гул, что, смешиваясь с оркестровыми всполохами из ямы, прорастает и колосится, как трава по весне.

Так что Яша *сел на виолончель*.

— Виолончель, — втолковывал сыну Большой Этингер, — это воплощенное благородство! Невероятный диапазон, потрясающий теноровый регистр, напряженная мощь звука... Да, из-за огромной мензуры на ней не звучит вся эта головокружительная скрипичная акробатика; да, виртуозные пассажи выглядят чуток суетливыми — вроде как дама габаритов нашей мамочки падает на руки партнеру в аргентинском танго. Но! Эта неуклюжесть с лихвой окупается качеством тембра. Никакие скрипичные «страсти в ключья» не сравнятся по накалу с яростным речитативом виолончельного *parlando!* И кто лучше виолончели создает эффект грусти? Ты можешь возразить: «А фагот?» Да, фагот потрясающе печалится. Но где ему, бедняге, взять красоту вибрации струнных! Нет, довольно Одессе батальона младенчиков-скрипачей, — заключал он, решительно прихлопывая огромной ладонью ручку кресла. — Все это мода и глупость, а вот хороший виолончелист, что в оркестре, что в ансамбле, всегда найдет себя на нужном месте.

Шестилетнюю Эсфирь, согласно этой практичной концепции, собирались посадить за арфу (арфа — вечная Пенелопа оркестра, прядущая свою нежную пряжу), и, надо признать, лебединый изгиб сего древнего инструмента очень шел к кольчатой волне Эськиных ассирийских кудрей. Но девочка была такой крошечной, что не доставала

до последних коротких струн. Тогда, делать нечего, отец отправил ее на частные фортепианные курсы Фоминой в Красном переулке, где обнаружился и расцвел один из главных ее талантов: девочка поразительно быстро читала с листа, цепко охватывая страницу многозвучным объемным внутренним слухом. Так что именно Эська оказалась тем чудо-ребенком в семье, на которого стоило ставить.

Честолюбивый Гаврила Оскарович с двойным пылом, отцовским и педагогическим, бросился — как в свое время его папаша-кантонист на редуты противника — на муштру новоявленного дуэта.

По вечерам весь двор, засаженный каштанами, катальпой и итальянской сиренью, слышал из окон квартиры в бельэтаже трубный рев Большого Этингера:

— Вступай на «раз и два и!» Не тяни! Это ж *уму неraftяжимо!* Виолончель в твоих руках — как музыкальный гроб, шарманка надоедливая! Ну, вступил же, тупица!.. — И далее — мерный стук трости об пол и одиночные вопли Яши, пронзительным дискантом протестующего против музыкального насилия.

* * *

Но, между прочим, недурной вышел ансамбль — «Дуэт-Этингер»: что ни говорите — отцовы гены, отцова выучка, да и музыкальные связи отцовы...

Спустя пять лет упорных занятий на первом концерте в Зале благородного собрания, что по Дворянской улице (помещение пусть небольшое, заметил Гаврила Оскарович, однако публика порядочная, все университетские люди), дети виртуозно исполнили довольно сложную программу — Третью, ля-мажорную сонату Бетховена для виолончели и фортепиано и виолончельную сонату Рахманинова, — заслужив аплодисменты искупленных ценителей. Сам трогательный вид этой артистической пары вызывал улыбку: долговязый Яша с долговязой виолончелью и малютка, едва достающая до педалей рояля фирмы «Братья Дидерихс»; улыбка, впрочем, при первых же звуках музыки сменилась уважительным и восхищенным вниманием.

Еще через год дети Гаврилы Оскаровича с успехом концертничали в разных залах Одессы: в Императорском музыкальном обществе, в Русском театре, в Городской народной аудитории. Уже шли переговоры Большого Этингера о летнем ангажементе в Москве и Санкт-Петербурге, уже Полина Эрнестовна сшила для Эськи настоящую концертную юбку со стеклярусом по подолу, а приметанный Яшин фрак ждал последней примерки у мужского портного. Уже отец прикидывал,

каким шрифтом набирать на афише имена и какие давать фотографии — когда приключилась эта беда.

Никто из тех, кто знал семейную жизнь Этингеров накоротке, кто хаживал к ним на обеда или заглядывал на чай, кто неделями гостил у них на даче, едва замечая тощего и очень застенчивого подростка-гимназиста, — никто не мог бы вообразить, что произойдет с этим юношей в самом скором времени.

А Яша переменялся внезапно, необъяснимо и необратимо. В Одессе про такое говорили «з глазду зъихав». Мальчик стал совершенно несносен: грубил матери, на кухне перед Стешей нес, размахивая длинными руками, пылко ахинено о каком-то «всеобщем равноправии свободных личностей» и, случалось, исчезал бог весть куда на целый вечер, манкируя репетицией. Причем с ним исчезал и футляр от виолончели, в то время как сама виолончель оставалась дома, точно брошенная котка, стыдливо приклонив к обоям роскошное итальянское бедро.

— Кого?! — кричал Гаврила Оскарович, воздевая руки и всеми десятью артистичными пальцами вцепляясь в каштановый, с седой прядкой кок надо лбом. — Кого он в нем перетаскивает?! Падших женщин?!

Между прочим, это замечание не лишено было некоторых жизненных оснований: окна спален просторной шестикомнатной квартиры Этингеров выходили в большой замкнутый двор, куда одновременно были обращены окна самого respectable борделя Одессы, так что музыкальный «Дуэт-Этингер» репетировал под ежевечерние возгласы: «Девочки, в залу!»

Всех «девочек» юные музыканты знали в лицо, а встречая во дворе, вежливо раскланивались: при свете дня и без густого слоя пудры и помады внешность многих «девочек» требовала уважения к летам. С утра они обычно отдыхали, а к вечеру тяжелые малиновые шторы волновал бархатный свет ламп; там двигались томительные тени, развязно и фальшиво брэнчало фортепяно, а из отворенных форточек разносилось по двору:

В Одессу морем я плыла на пароходе раз...

Или:

Меня мужчины очень лю-у-убят,
Забыва я победам счет,

Меня ласкают и голу-у-бят,
В блаженстве жизнь моя течет...

Заблуждению по поводу Япиных отлучек поддалась даже Дора, женщина недоверчивая и истеричная.

— Яша! — кричала она. — Меня убивает одно: неизвестность! Ты можешь сгинуть на всю ночь, но даже из борделя отстучи телеграмму: «Мама, я жив!»

Ее рыдающему голосу вторил игривый и наглый голосок из-за малиновых штор напротив:

Все мужчины меня знают,
в кабинеты приглашают,
мне фигу-у-ра позволяет...

Шик, блеск, имер-элеган
На пустой карман!

Увы, какой там бордель! Яшу захватила совсем иная страсть, та, что в его боевых кухонных филиппиках перед оцепенелой в немом восторге Степшей именовалась «жаждой социальной справедливости» — во имя которой, твердил он явно с чьего-то чужого и лихого голоса, «в первую голову трэба устроить бучу повеселее».

Наконец, однажды ввечеру на квартиру Этингеров — в крылатке, в дворянской фуражке с красным околышем, «лично и между нами-с» — наведаясь пристав Тимофей Семенович Жарков, культурнейший человек, большой любитель оперы и почитатель Гаврилы Оскаровича, да и сам бас-профундо в церковном хоре. И тут неприглядная и отнюдь не музыкальная правда о похождениях виолончельного футляра грянула зловещей темой рока, знаменитыми фанфарами из Четвертой симфонии Чайковского.

Яша, как выяснилось, перетаскивал в футляре какие-то гнусно отпечатанные босяцкие брошюры возмутительного анархистского содержания. «Их и в руки-то брезгуешь взять! Полюбуйтесь: от сего манускрипта пальцы все черные!» И противу должности и убеждений, исключительно из душевной и музыкальной расположенности к Гавриле Оскаровичу — столь почтенное, ко всему прочему, семейство, и такой-то срам, чтоб одаренный юноша, виолончелист, многообещающий, так сказать, талант, прибился к босоте и швали! К налетчикам! Ведь в этой бандитской шайке известные подонки: тот же Яшка Блюмкин, и Мишка Японец, и какой еще только мрази там нет!

— Вообразите, на Молдаванке, на Виноградской, у них школа щипачей, где эту голоту, шпану малолетнюю, на манекенах обучают!

— На... на манекенах?

— Так точно! Манекены с колокольчиками по карманам. Исхитрился выгащить портмоне, не зазвенев, — получи от «учителя» высший балл! Или по шее, коли не успел. Вот откуда себе вербуют хевру эти молодчики-анархисты. Вот с каким отребьем связался ваш Яшенька, дорогой Гаврила Оскарович...

Словом, пристав Тимофей Семенович настоятельно рекомендовал как можно скорее и скрытнее ото всех Яшиных дружков спровадить юнца куда-нибудь подале, к родне, под замок. И молчок. Так как *на анархистов имеется предписание*, а служебный долг — он, сами понимаете, голубчик Гаврила Оскарович...

Тимофей-то Семенович был, разумеется, встречен как родной, усажен в кабинете в удобное кресло (еще папаши-кантониста приобретенные), улажен коньячком и контрабандной сигарой и заверен наитвердейшим образом в том, что...

Последний солнечный луч из-за портьеры угасал в его правой платиновой бакенбарде, сплетаясь с сигарным дымом и чеканя печатку перстня на среднем пальце правой руки (левая была изуродована еще в октябре пятого года, когда анархисты «безмотивного террора» взорвали кофейню Либмана на Преображенской).

Гаврила Оскарович сам проводил пристава, минут пять еще что-то горячо обсуждал с ним вполголоса в полутьме прихожей, а когда за Тимофеем Семеновичем закрылась дверь, вернулся в залу с перекошенным лицом и впервые в жизни организовал выдающийся семейный скандал, потрясший Дом Этингера до основания.

И дело не в том, что в ход были пущены некоторые, много лет хранившиеся под спудом, неизвестные детям и Доре крепкие выражения его покойного отца, николаевского солдата Никиты Михайлова. Дело не в том, что впервые в жизни Яша получил по физиономии отцовской рукой опытного оркестранта, и новому ощущению нельзя было отказать в известной свежести. Дело не в том, наконец, что Дора была названа «безмозглой коровой», а Эська зачем-то заперта в своей комнате до выяснения ее осведомленности о безобразиях брата.

Яше велено было собраться и наутро быть готовым к отъезду в Овидиополь, к двоюродному брату матери, на неизвестный срок. Гаврила Оскарович собственноручно запер до утра все двери и даже окна:

— Ты у меня узнаешь, паскудник, как декларации провозглашать! Манекены?! Колокольчики?! Освободительная чушь?! Ты у меня услышишь колокольчики в Овидиополе!

Не все, как выяснилось, не все замки запер. И той же ночью, не дожидаясь ни допроса в полицейском участке, ни бессрочного прозябания у дяди в пыльном захолустье, Яша — *ни туха, ни праха!* — беспшумно удалился через окно кухни (и надо еще разобраться, вставляла Дора, какую роль в том сыграла Степка!), из денег прихватив только семейную реликвию — «белый червонец», редкую монету из платины (хотя выбито на ней почему-то было «3 рубли *на серебро* 1828 Спб»), подаренную все тем же николаевским солдатом сынку Герцэле на бар-мишцу.

В своем последнем «прости», бессвязном и бредовом, нацарапанном карандашом на листке из гимназического календаря «Товарищъ», Яша объяснял свой поступок «освободительными целями и нуждами “Вольной коммуны”», а также писал о «горящем сердце Данко» (вероятно, какого-нибудь босяка-цыгана с Пересыпи), что «рассек себе грудь и вырванным сердцем озарил людям тьму!».

Словом, «шик-блеск, имер-элеган на пустой карман».

Взбешенный Гаврила Оскарович смял и выбросил жалкий листок в корзину для бумаг. А зря: никогда вы не знаете наверняка, в какие моменты судьбы пригодируются нелепые излияния вашего непутевого сына.

Хорошо, Стеша потихоньку вытянула из корзины и расправила листок, поставив на него холодный чугунный утюг у себя на антресоли. Ведь там на обороте Яшиной рукой был неосторожно записан дивный стих (вообще-то Константина Бальмонта, но Яша на этом не настаивал), относительно коего у Стеши имелись некоторые основания для ночных вздохов и сладкого сердцебиения:

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Из сочных гроздей венки свивать,
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу одежды с тебя сорвать!..

И далее в столь же неукротимом духе, аккуратно и до конца переписанное стихотворение, как ящерица хвост сбросившее подпись автора. Но ведь не это главное — тем более что Яша счел нужным сей шедевр усыновить, а псевдонимом взять солдатское имя деда: Михайлов.

Возможно ль такое, чтобы недалекая Стеша осознала необходимость сохранить пустобрехий листок, который через каких-нибудь пять-шесть лет послужит семье охранной грамотой в кровавой кутерьме бандитских налетов, в кипящей воронке революции и Гражданской войны?

А ведь и правда: спустя всего несколько лет охотников познать имуществам «буржуев» Этингеров встречала на пороге рослая Стеша с льняной косой вокруг головы и, подбоченившись, выставив перед собой пресловутый листок с уже

известной фамилией, зычным, шершавым, не своим голосом покрикивала: «А ну, кто тут посмелей — забрануть дом Якова Михайлова?»

Но до всего этого еще предстояло дожить, а пока многообещающий «Дуэт-Этингер» распался.

В доме воцарилась угрюмая тишина, в которой тягучие, вздохнув, рыдания Доры (Яша был ее любимцем) причудливо вторили разбитному треньканью и вечерним призывам «девочки, в залу!», кружили по двору над деревянной галереей, над цистерной для дождевой воды, гулко аукались под низкой сводчатой подворотней и сквозь вензеля чугунной решетки ворот уносились прочь — на улицу, чтоб безнадежно угасать там, в кроне старой акации.

2

«В ж-ж-ж-жну! Вж-ж-ж-жну! Вж-ж-жну-вжик!» — сумасшедшие хрущи прошивали воздух вспышками бронзовых крыльев.

Уже заполнялись дачи Большого, Малого и Среднего Фонтанов, уже двинулись туда поездами парового трамвая (в народе прозванного «Ванька Головатый») и вагонами конки толпы гуляющих; уже в павильонах Куяльницкого и Хаджибейского лиманов приезжие и местные курортники погружали в «грязевые и рапшные ванны» свои обширные зады, обтянутые полосатыми купальными костюмами.

Уже расцвели огромными медными лютиками вынесенные на террасы граммофоны, изливая где рулады Карузо, где страстный вой цыганского романса, а где забубенный тенорок популярного куплетиста. Уже варили в огромных тазах варенье по садам; веселые и праздные дачники уже репетировали домашние спектакли, а над купальнями витал задорный женский визг да скабрёзно похохотывали ломкие голоса гимназистов.

В фиолетовых тенях под платанами шла непрерывная кутерьма узорчатых солнечных зайцев. Девочки во дворах мастерили куколок-мальвинок: три бутона — голова и руки, а распустившийся цветок мальвы — колокол розовой юбки.

Но Эська давно забросила дворовые детские глупости.

Прошло два года с той ночи, как Яша сиганул в окно и совершенно пропал из виду семьи. Все это время девочка неустанно заливала тоску и тревогу родителей кипящими пассажами этюдов и упражнений, не-

детским чутьем понимая, что отныне миссия ее — не утешение (вялая ласка утешений еще никого не вернула к жизни), тут другое нужно: полный и сокрушительный реванш!

И вот, мимо лепных тугощеких ангелов на фасаде, меж бронзовых дев, озарявших фонарями подножие широкой лестницы вестибюля гостиницы «Бристоль» — самого роскошного, как писали газеты, отеля России, — Гаврила Оскарович Этингер сопровождал дочь на аудиенцию к известной австрийской пианистке Марии Винарской. В третий раз та гастролировала в Одессе, и Гаврила Оскарович через антрепренера театра договорился о прослушивании.

— Папа, — шепотом спросила Эська, глаза на позолоту невесомых чугунных листьев парадной лестницы, на сахарные груди скульптурных дев в округлых нишах, на сияющий атлас зеленых гардин, богемские каскады ослепительных люстр в высоких потолках, на малахитовые столешницы и раскоряченные ножки миниатюрных столиков в стиле ампир, — разве там, в номере, есть фортепиано, папа?

— Рояль! — отрывисто бросил вполголоса Гаврила Оскарович. — Она возит его с собой.

— Рояль — с собой? В багаже? Как панталоны?! — Девочка прыснула так, что на нее оглянулся мальчишка-рассыльный.

— Ничего смешного. Марии ведь нужно репетировать. Сама знаешь, как важен свой инструмент.

Большой Этингер волновался, сможет ли его застенчивая дочь показать себя во всей полноте таланта. Высокий кок надо лбом, сильно осеребренный анархистскими похождениями Яппи, сейчас казался еще более из-за темной крови, прилившей ко лбу и вискам.

На самом деле это только называлось «аудиенция у Марии Винарской». Все знали, что знаменитую пианистку во всех ее турне сопровождает супруг, профессор Венской консерватории, а точнее, Королевской Академии музыки и исполнительского искусства (*Akademie für Musik und darstellende Kunst*), артистический ее директор и член попечительского совета Марк Винарский. И вот к нему-то, профессору Винарскому, автору книги по фортепианной постановке рук, выдающемуся интерпретатору Шопена и создателю специальных этюдов для развития «шопеновской техники» — да, именно к нему, гениальному Марку Винарскому, Гаврила Оскарович привел на погляд свою тринадцатилетнюю Эську.

Та по-прежнему оставалась миниатюрной, так и не подросла за всю последующую жизнь: метр пятьдесят, и ножка — тридцать третий золушкин размер в придачу к вечной головной боли — где такие туфельки разыскать. Прежде заказывали у «Брохиса съ сыновьями» («во всёхъ лучшихъ магазинахъ обуви европейской и азиатской Россіи»), потом остался «Детский мир», где вам выносили инфантильные бантики и пуговики или тупоносые мальчуковые ботинки с коричневыми солдатскими шнурками.

Однако при своем малом росте сия отроковица уже соразмерно оформилась, убирала кудри во «взрослый» узел на затылке, обнажавший фарфоровый стебель шейки, и по-взрослому умно и вежливо глядела на собеседника блестящими черными глазами, ужасно стесняясь лишь одного: предательски «вдруг вскочивших» круглых и тесных грудей.

И можно только вообразить, какое впечатление производила эта малышка, шпарившая Четырнадцатый этюд Шопена на беспощадной бриллиантовой скорости.

Ее маленькие руки обладали поразительной растяжкой и небывалой для девочки отчаянной силой. Иногда, доставая носком туфельки педаль, она чуть не соскальзывала с рояльного, обитого кожей, табурета (высоту которого, прежде чем дочь села за инструмент, Гаврила Оскарович долго придирчиво устанавливал, подкручивая регулировочные маховики); подпрыгивала, как мяч, выплеснув на клавиатуру пену очередного кружевного пассажа; мечтательно замирала, выпустив из рук угасающий аккорд. Ее точеная головка с собранными на затылке в узел черными кудрями, мелко-кольчатыми, как бороды ассирийских царей, строгий профиль, который она рывком оборачивала то к одному, то к другому краю клавиатуры, чуть ли не ухом и щекой приникая к клавишам на пианиссимо, а на фортиссимо швыряя аккорды куда-то под рояль; ее блестящие глаза, то сощуренные в щелочки, то расширенные как бы в ужасе на громовых каскадах, округлый детский лоб, покрытый испариной, и бешеная погоня по клавишам ее недетских, суховато-мускулистых кистей, — все излучало подлинность таланта. Гаврила Оскарович в паузах лишь глубоко переводил дух, мысленно посылая дочери утешающую сдержанную силу и молясь, чтобы ничто не помешало ей отыграть до конца приготовленную программу.

После первых двух минут ее игры из спальни вышла сама Мария: некрасивая, угрюмо-лобастая, как щенок, громоздкая женщина с тя-

желым подбородком и маленькими, близко поставленными глазами такой ликующей синевы, что вся ее внешность тушевалась, оставляя только этот властный свет.

Она вышла и молча простояла за спиной девочки до конца исполнения.

Завершив пьесу, Эска сняла руки с клавиатуры, оглянулась и нашла глазами отца. Папа сидел в кресле чуть поодаль, сцепив на колене кисти рук, даже пальцы побелели, а сам был очень, очень красен. И красив! Он улыбнулся ей и чуть заметно кивнул. Так у них было условлено: сигнал к продолжению.

Она отерла вспотевшие ладони о колени и, выпрямив спину («перед началом всегда глубоко вдохни»), заиграла Тридцать вторую сонату Бетховена, сложнейшую...

И когда после раскаленного до минора первой части вылетела на вторую, с разреженным воздухом ее альпийских вершин, накрытых снежными ризами, с ее умиротворенно истончающим «Lebewohl!» — «Прощай!» — последних вариаций, все бури и потрясения первой части, все земные обиды и оскорбления, и месть — Яшкин побег, безумие внезапных Дориных истерик, отцова печаль — все осталось в прошлом, а душа растворилась в беспамятной неге, в синих тенях, скользящих по склону горы, облитому ледовым блеском.

И сливочным блеском сияла клавиатура, и черным плавником огромной акулы вздымалась поднятая крышка концертного рояля.

Высокая стеклянная дверь балкона была распахнута в кроны цветущих акаций; хрустальную вазу в углу распирали букет влажной рыхлой сирени такой пышности, что столик под ним казался робким, как олененок. В воздухе этой с роскошью обставленной залы чудесно слились морской солоноватый бриз, духовитая волна от цветущей акации за балконом, тонкий аромат цветов и терпкая горечь духов стоявшей за спиной у Эски молчаливой грузной женщины. Ее безмолвное одобрение, волнение отца, его подрагивающие, сцепленные на колене пальцы, ручьи, водовороты и водопады пассажей, изливавшиеся у девочки из-под рук, — все обещало недюжинное будущее: вихрь сирени на иных бульварах, переполненные залы, черные фраки оркестрантов, акулы плавники лучших в мире концертных роялей, рукоплескания публики.

Где-то внизу, в порту, в синеве моря и неба длинным и тощим голосом занял пароход. И словно в поддержку ему, яростно жужжа, с улицы влетел сумасшедший изумрудный хруст и, басовито и торжественно вторя финалу сонаты, проник в самую гущу сиреневого букета.

Мария подошла и положила на плечи девочке свои прекрасные тяжелые руки. И все задвигались, вздохнули, заулыбались и разом заговорили на трех языках. Профессор достал из кармана большой синий платок и, смешно двигая косматыми бровями, затрубил в него на ре-диез — он прослезился во время Эськиной игры.

Вдруг, явно волнуясь, заговорил на языке, похожем на немецкий... ах да, это идиш, поняла Эська, — секретный язык, на который переходит с мамой дедушка Моисей, если хочет, чтобы его не поняли внуки; и напрасно — понятно все до копейки, и все неинтересно! Оказывается, папа тоже может на нем говорить — да так быстро, перебивая профессора и тоже волнуясь.

Высморкавшись, профессор заявил, что на своем веку впервые после Марии (не правда ли, *херцлихь?* — и супруги переглянулись) услышал пианистку столь даровитую, с таким воздушным и в то же время властным *туше*; что он был бы счастлив учить эту талантливую «мейдэле» по месту, что называется, назначения, а именно, в Вене. Юный возраст не помеха в зачислении на курс в академию; как известно, и Моцарт, и Бетховен... да что там говорить!

Оказалось, что знаменитый Марк Винарский не всегда состоял артистическим директором и членом попечительского совета Венской Академии музыки, а когда-то был шестым ребенком в бедной еврейской семье в местечке Жосли Виленской губернии; что после скоропостижной смерти отца мать покинула местечко и отправилась на заработки в Вильно, раздав детей по состоятельным семьям. Маленький Марк попал в семью местного врача — доброго бездетного человека, большого любителя музыки. Все это профессор Винарский пробубнил, то и дело сморкаясь, смущенно вставляя в свой немецкий — для Эськи, наверное, — колченогие русские словечки: «исполнитель пахнет, что вол!»

...тут, одурев от сирени, изумрудный хрущ поднялся в воздух и полетел в сторону порта, откуда потерянными гудками тянули в терцию — на ля- и на до-диез — свою песнь корабли парокходства «Австрийский Ллойд».

Эська рассеянно улыбалась, кивала, что-то отвечала на вопросы взрослых. После Бетховена она всегда чувствовала изнеможение, как после долгой болезни с высокой температурой. Она, конечно, была ужасно рада, что аудиенция удалась; но одновременно ей не терпелось скользнуть с табурета, схватить отца за руку и поскорее утащить. Дело в том, что папа обещал повести ее в *кондиторскую* Фанкони, угостить мороженым со сливками. Эти двое, обожатели друг друга и оба преступные обожатели сливок, частенько заходили к Фанкони, где заказыва-

ли мороженое со сливками, пирожное со сливками, кофе со сливками и — специальным заказом — большую чашку сливок.

Это был ритуал: когда дочь, блаженно жмурясь, отхлебывала из чашки мелкими глотками, отец, патетически воздев руки и потрясая ими, всплескивал тенором, так что официанты с улыбкой оглядывались на их столик:

— «Сердце полно жаждой мщенья! Мщенье и гибель всем врагам!»

Эська глядела на отца сияющими глазами. Она его очень любила. У папы были чудесные, серые в крапинку глаза в густых ресницах, победного рисунка брови, очень выразительный «гаранный» взгляд: прежде чем он начинал говорить, уже было ясно, о чем он думает.

В тот миг, когда, устремившись с кресла вперед, точно собираясь прыгнуть с помоста купальни, сцепив перед собой сильные кисти (а выразительные большие пальцы нервно перекручивали невидимое веретено), он горячо втолковывал профессору что-то о «накопленном репертуаре» дочери, Эська припомнила некий синий с холодным румянцем день ранней весны, когда классная дама Рыгалина по кличке Влюбленная Вошь вела группу гимназисток на Дерibasовскую, в дом Сепича — запечатлеться в «Первоклассной фотографии Я. Бълоперковского, придворного фотографа Его Величества Короля Румынского».

От снега, что выпал на рассвете, но к десятому часу уже раскис, пахло фиалками; холодный ветер с моря перебирал звенящие струны голых деревьев, попутно сгоняя с крыш тяжелые квадриги радужных голубей и посылая вслед им гроздь алмазных брызг; лошади волокли под пролетками гремучий цокот копыт по мостовой, и все звуки города ссыпались на бульвар, точно орехи на медный поддон.

Вдруг на другой стороне улицы Эська увидела отца: он выходил из чужого подъезда под руку с элегантной, высокой — под стать ему — дамой в чудесной шляпке с густой вуалью. Но Эська мгновенно даму узнала — по осанке: дочь антрепренера театра, Ариадна Арнольдовна фон Шнеллер. Когда папа в детстве брал девочку на репетиции, она раза три оказывалась в ложе с этой изящной холодноватой дамой. И вот отец шел, прижимая к себе ее локоть, слегка наклоняя к ней голову, улыбался, горячился — в своем распахнутом сером пальто с бархатным черным воротником, в белом шелковом кашне, с кларнетным футляром в руке, молодой, слегка растрепанный и безумно любимый. Все в груди у Эської радостно, по-детски вскипело, предвосхищая возглас «Папа!» — но уже в следующий миг она торопливо отвернулась, громко задала какой-то дурацкий вопрос Влюбленной Воши, уводя внимание от красиво слитной пары вперед (отец мог и случайно встретить знакомую даму, не правда ли?), — и впервые в жизни подумала совер-

шенно папиной присказкой, с папиной же интонацией: «Какая в том беда Дому Этингера!»

И молчок: ни слова — ни самому отцу, ни Яшке, ни Степе, ни тем более матери.

Тихо улыбаясь, она покручивалась на рояльном табурете, не вступая в разговор взрослых. Знала, что отец подхватит, ответит, объяснит или возразит. Глядела на него с гордым обожанием, предвкушая пиршество под бело-зелеными полосатыми тентами на террасе Фанкони: мороженое со сливками, пирожное со сливками и отдельным заказом — полную чашку сливок.

Вдруг ее ужалила мысль: а не от чрезмерного ли обжорства сладостями так внезапно и больно выскочили эти противные сливочные сиськи?

* * *

Это был триумф Дома Этингера!

Яшина анархистская эпопея, омытая слезами и отчаянием Доры (вот уж кто готов был рассечь свою закованную в латы грудь и вырванным сердцем осветить возвращение блудного сына!), ее затворничество и мигрени, от которых по три дня раскалывался затылок, ее неприбранный вид и заброшенная «рудка» — все вмиг отошло на второй план. Все сбережения, накопленные тяжким трудом ее мужа-оркестранта, с абсолютным безрассудством были поставлены на кон. С болью в сердце была продана даже Яшина итальянская виолончель.

Старый картежник Моисей Маранц тоже рвался «финансировать заграничное обучение» любимой внучки, но его сомнительные предложения зять обошел вежливым молчанием. До осени, когда начинались занятия в консерватории, оставались считанные месяцы, и за это время надо было подготовить девочку к новой жизни, обшить с ног до головы в изысканном европейском стиле, сочинить и создать гардероб, который не посрамит и тамошнюю Кертнерштрассе с великолепием ее дорогих магазинов и разодетых модниц.

Немедленно с запиской к Полине Эрнестовне (ряд восклицательных знаков занимал целую строку) был послан дворничий сын Сергей.

Поскольку работа предполагалась срочная и ответственная, над меню просидели чуть не до полудня. На другой день с утра и до обеда, не отпуская извозчика, ездили по модным лавкам на Ланжероновскую и Дерибасовскую, в пассаж, в конфексион братьев Пуриц, а также в

гранд-конфексион Максимаджи и Гуровича: отбирали материю, пуговицы, крючки-застежки, кружева и тесьму, дымку на вуали...

И уже после обеда великая портниха приступила к священнодействию.

Тут надо бы отметить, что лохматая людоедка обожала дочь Доры Моисеевны. С ее точки зрения, та являлась идеальной моделью: шить на девочку было сплошным удовольствием и чистым вдохновением. С ней не требовалось никаких хитроумных обманок зрения, дополнительных складок для впечатления и надставных плечиков для сокрытия. Эскина фигурка говорила сама за себя. Ее хотелось поднять на ладони к свету и любоваться пропорциями и линиями — собственно, тем, что в искусстве моделирования боготворила старая портниха. Вымеряя полураздетую, в одних панталончиках, девочку, Полина Эрнестовна таращила черные, как греческие маслины, глаза, приговаривая:

— Так бы и съела ее на завтрак!

(При этих словах Дора поеживалась и притягивала дочь к себе поближе.)

Набывчив голову со знаменитой бородавкой во лбу — единорог перед решающим сражением, — Полина Эрнестовна рисовала на листках все новые головокружительные модели, вычеркивала те или другие детали, переносила с одного листка на другой рукав-реглан, отрезной лиф или воротник-хомут. Она колдовала, бормотала, фыркала и отбрасывала листки. Вновь приступала к работе, составляя списки на все случаи жизни: дорожные платья, деловой костюм, концертное платье, вечернее платье...

Повторим: она не знала выкроек и не употребляла профессиональных понятий, вроде «косой крой», «прямой силуэт» или «заниженная талия».

— Ото так... — бормотала она, — отсюда и вниз до жопки, а талию повыше... а грудку ослобонить... Шейку объять кружевцами, плечико — в фонарик... а юбку — вихрем...

Этот «венский гардероб» — единственное, что осталось девочке от европейских мечтаний, — служил ей всю долгую, долгую жизнь, ибо Эсфирь Гавриловна и в старости оставалась такой же хрупкой дюймовочкой, не поправившись ни на фунт.

«Венский гардероб!» — чуть насмешливое, но и любовное словосочетание началось в семье не только содержимое пухлого парусинового саквояжа, который проследовал за нею по десяткам разных адресов судьбы, но и многое иное: ее привычки, стойкость перед лицом трагических перемен, неизменное очаровательное восхищение мелкими и даже убогими радостями жизни.